

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Предлагаемые вниманию читателя рассказы, как и ранее опубликованные в других моих сборниках, в большинстве своем, повествуют о русских людях и о русской жизни в условиях коммунистической неволи. Эти рассказы не могли бы появиться на свет в нынешней России, потому что трусливая и безжалостная диктатура боится правды, как тьма боится света. Но, как известно, «свет во тьме светит, и тьма не объяла его».

Исколесив почти всю Россию и ее окраины в качестве разъездного корреспондента «Известий», я имел возможность близко соприкоснуться с человеческими страданиями, которые принесла нашей стране советская власть, и записать увиденное по живым следам. Позже, уже за рубежом, в условиях творческой свободы, они были написаны в форме рассказов по воспоминаниям прошлой жизни, которая нередко возвращается ко мне в страшных сновидениях; я просыпаюсь от них с криком, зовя кого-нибудь на помощь, и с силь-

ными перебоями в сердце. Прошло уже так много лет с тех пор, как Промыслом Божьим я избавлен от кошмаров советской жизни, но страшные видения прошлого все еще не оставляют меня. Эти видения поныне остаются живой действительностью в стране произвола и насилия.

Виктор Робсман

МОЯ ДВОЮРОДНАЯ СЕСТРА

В своей ранней жизни она более всего была привязана к доброму своему братцу, жила в его тени, освещалась его светом, и ей хотелось тогда летать, не иметь тела, не спать, не есть, не знать, что бывают слезы, быть всем и ничем, и всегда тосковать о потерянном рае... Вот какие пустые мысли внушал ей братец, нежно любивший свою маленькую, безрассудную, глупенькую сестру. Но братца ее давно уже нет в живых, честь родины была для него всего дороже; его одним из первых унесла в могилу революция, и соль ее слез поныне разъедает ее голубые глаза. Теперь она стала замечать своего отца, точно раньше его у нее не было; она увидела его усталое, серое лицо, напоминавшее гаснущий день, и испугалась своего предчувствия. Она внезапно поняла, что он был очень одинок, что она одна нужна ему, и захотела отдать ему свою жизнь. Но уже в пятнадцать лет у нее появилось желание стать женой, принадлежать мужу, и чтобы союз их был безоблачным,

безмятежным и бесконечным, как жизнь земли. С нетерпением подростка, она захотела быть матерью, принадлежать своим детям и видеть в каждом из них плод своей любви. Однако очень скоро она загрустила, в сердце ее образовалась какая-то пустота, в нем не осталось ни одного желания, и она уже не хотела быть ни женой, ни матерью, ни дочерью своего отца, ни вспоминать о своем добром братце, а принадлежать всем и никому и быть свободной, как при рождении.

Такой была Люда или Мила, она же Люся и Милочка, нареченная при крещении Людмилой — моя двоюродная сестра. Дядюшка мой, Илья Андреевич, рано овдовевший, не мог нарадоваться своей безрассудной дочерью. Я помню ее ребенком, всегда смеющейся, с веселыми глазами, а потом — девочкой, подростком, плачущей за чтением Жития Святых; еще ребенком она была набожна, как старушка, и теперь, не находя в своем сердце огня, который заставлял ее гореть новыми желаниями, она упросила отца отвезти ее на послушание в монастырь, при котором была погребена ее рано усопшая мать; она хотела теперь быть всегда при ней, неразлучно, служить требы на ее могиле, чтобы души их встречались здесь и обменивались незримыми объятиями и ласками.

Матушка-игуменья приласкала ее и оставила при себе. Она была стара, немощна, но всё еще хороша собой, и ею можно было любоваться; живые ее черты не застыли еще, мягкая улыбка проступала сквозь плотно закрытые губы, а на дне ее глаз, цвета морской воды, была видна душа, прозрачная и чистая, как слеза ребен-

ка. Мать-игуменья приучала ее к чтению назидательно-религиозных, поучительных для ее беспокойной души книг, в которых описывались муки мучеников, подвиги подвижников, смирение отшельников, отказавшихся от всего, живущих в пещерах, как можно дальше от людей, чтобы быть как можно ближе к Богу; у них ничего нет, им ничего не надо, кроме вериг на голом теле для усмирения своей неукротимой плоти... И в ее незрелую душу закрадывались сомнения; почему, думала она, всё, что приятно телу, — противно душе? Неужели плоть настолько сильнее живущей в ней души, что нужны такие невероятные усилия, чтобы преодолеть ее?

Она теперь всё чаще и чаще задумывалась над такими непонятными ей словами, как грех, блуд, преступная связь, прелюбодеяние, пугаясь их, и в то же время хотела заглянуть в бездну, узнать их тайну, испытать на себе... С девичьим любопытством читала она о преступной связи святого мученика Вонифатия с порочной женщиной Аглаидой, и всей душой была на ее стороне; Аглаида казалась ей прекрасней царской невесты, потому что благодаря ей Вонифатий стал святым. Что же плохого тогда в блуде, в пороке? Может быть, если бы не было порока — не было бы и святых? И она, под влиянием своих детских заблуждений, начинала питать какую-то странную нежность ко всем порочным, падшим, погрязшим в разврате женщинам.

Ее приводили в экстаз необычайные дела, совершенные апостолами Иасоном и Сосипатром, обратившими к вере разбойников, заточенных в темницу за лиходейство, а теперь получивших от Господа венцы.

Как это возможно? Она хотела бы увидеть их, прикоснуться к ним, узнать — какие были эти венцы? Она повторяла имена этих разбойников, как слова молитвы, с трудом произнося их, дивясь им; какими новыми, какими чудными и непривычными для нее были их имена: Саторний, Иакисхол, Фаустиан, Ианнуарий, Марсалий, Евфрасий, Ма́ммий! Нет, никогда она не забудет их!

Во время трапезы ее смущало, что монахини, слушая чтение о муках, стенаниях, столах бунтующей плоти угодников и святых, ели без содрогания жареных окуней, выловленных в монастырском пруду, грибной борщ, пахнувший соседними лесами и прелыми листьями, свежеспеченный хлеб, напоминавший о только что скошенных полях... И никто из этих благочестивых монахинь не помышлял тогда, что уже настало светопреставление, о котором напоминала мать-игуменья в своих наставлениях каждый день; вот так же, говорила она, был истреблен небесным огнем Содом вместе с Гоморрой, и на месте их не осталось и следа жизни, и Мертвое море покрывает их...

Людмила притаилась в своем уединении; что-то невообразимое произошло на русской земле! Она со странным возбуждением ждала несчастья, как чего-то нового, еще не испытанного, не похожего на всё, что было раньше; библейские бедствия больше не пугали ее.

В эту ночь, когда раздумья и дурные предчувствия не давали покоя ее душе, далеко, за несколько сот верст от монастыря, неподалеку от Киево-Печерской лавры, на маленькой полянке, среди крепостных валов, в луже крови лежал прах обезображенного, насмерть замучен-

ного настоятеля и отца Лавры, митрополита Владимира, человека Божьего, человека досточтимого, молитвенника и постника, не боявшегося говорить правду царям... Зачем они убили его? Разве был он хуже тех, кто его убивал?

А потом, уже за каждой обедней поминали имена новых священномучеников, поражая воображение Людмилы — на что бывает способен человек! Она не могла понять, зачем надо было отсекать руки и ноги, вырывать клещами язык сельскому батюшке Лонгину из Изюмского уезда, перед тем как пристрелить его, а тело бросить в омут реки? Зачем нужно было им снимать скальп с трясущейся от немощи и старости головы архимандрита Родиона, настоятеля Спасского монастыря, перед тем как предать его позорной смерти? Зачем надо было им раздеть догола престарелую матушку Евфросинию, верную спутницу жизни казненного на ее глазах священника Гавриила Московского, посрамить ее на людях, надругаться над ней и заколоть штыком?

А в это время стало известно, что в Херсонской губернии одичавшая чернь, натравленная солдатами новой власти, распинает на крестах троих праведников, священномучеников; солдаты потешались над их смертными страданиями, они кричали на них, говоря: «Вот мы сейчас из каждого из вас Христа сделаем!».

Кресты были непрочные, наспех сбитые и плохо держались в земле; тела мучеников сползали, разрывая раны от вбитых в них гвоздей, но солдаты удерживали их веревками, продетыми между ногами, подтянутыми

к подмышкам и перехваченными у ключиц, и вбивали в них новые гвозди, как в строительные леса. Свидетели этого убийства сходили с ума, а распятые, пробуждаясь от острых, нестерпимых, беспредельных болей, шептали благодарственные молитвы за то, что удостоились испытать крестные муки, подобно страданиям Христа...

*

Это был сброд, состоявший из солдат-дезертиров, бежавших с фронта военных действий; матросов, бросивших военные корабли врагам; рабочих, не желавших работать, озлобленных на всех, у кого чистые руки и не ожесточенные сердца; беглых каторжников, презирающих невинных, не запятнанных кровью, кто не грабил и не убивал; бродяг, ненавидящих труд, проводящих праздные дни среди нечистот, съедаемых насекомыми и наслаждающихся бездельем. Это странное войско, порожденное революцией, именовавшее себя отрядом особого назначения по изъятию церковных ценностей, стояло лагерем под Харьковом, направляясь громить последний на его пути женский монастырь, где Людмила, со странным возбуждением, ждала несчастья. Здесь было еще что пограбить, чем поживиться, что уничтожить и осквернить. Их раздражало всякое благополучие, порядок, мирная жизнь, монастырский покой, а более всего — неиспорченность монашек, давших обет безбрачия, целомудрия, послу-

шания и поста. А они любили блуд, бесчестие, всякую испорченность, похвалялись злом, как добром, своей порочной жизнью, как нравственным примером. С восторгом дикарей они набрасывались на священные книги и иконы, топтали их сапогами и бросали в огонь.

У них был старшина, которого называли они товарищем-командиром, но он никому не был товарищем, потому что с малых лет возненавидел людей; его власть над ними была беспредельна и неукротима. Никто не мог знать заранее, когда находит на него приступ гнева, напоминающий беснование, и тогда он был страшен. Рожденный в семье лесника — зверолова, он многое перенял от повадок зверей, которых любил грубой любовью и доверял им больше, чем самому лучшему из людей; враг Бога не может быть другом человека! Ему было доподлинно известно, что нет среди лесных зверей более притворного, способного на всякие уловки животного, чем изучивший все науки, постигший все знания, овладевший всей мудростью человек. Всем своим обликом и крутым нравом он очень напоминал большого и сильного бурого медведя, на коротких ногах, добродушного и безжалостного в одно и то же время.

Но пора было приступать к делу; уже было выпито все церковное вино, над которым совершалось как бы таинство превращения по мере того, как они пили его; кровь протрезвляла их пьяные глаза, и мистический страх закрадывался в их ожесточенные души... Стали впрягать лошадей в тачанки, нагруженные снадью и монастырским добром, и церковной утварью, увезен-

ной мародерами из Лавры; были здесь и похищенные с тела покойного митрополита панагия, и клубучный крест его, и золотые часы с цепочкой, и снятые с мертвого сапоги...

Лошади ржали от нетерпения, они были приучены к грабежам, точно к лобовой атаке, и рвались к монастырям, как в бой.

Далеко были слышны протяжные звоны монастырских колоколов — они словно всхлипывали, как при усердной молитве, на что-то жаловались, о чем-то просили, кого-то оплакивали и приносили покаяние за всех и за вся. Но скоро и их уже не было слышно: всё притихло, всё примолкло, всё замерло, когда разнузданный отряд въезжал в монастырские ворота, как враг в завоеванную страну. Старшине не понравилось, что никого нет. Почему попрятались богомольные монашки? Чего боятся они? Знать, совесть у них не чиста, ежели от людей прячутся!

И старшина закричал на весь двор, чтобы все его услышали, потребовал к себе мать-игуменью, экономку и казначея и чтобы без промедления доставили ему ключи от кладовой монастыря.

— Кто ты? — спросила мать-игуменья, встречая его во флигеле, у порога своей кельи. — Я не знаю тебя, сын мой. Если ты послан ко мне дьяволом, то как могу я подчиниться тебе, служа Богу?

— Теперь я твой бог! — закричал он на старуху, и голос у него был лесной, дремучий, напоминавший дикий и грозный рык раздраженного зверя. — Всё, что я теперь захочу — то и сделаю! Стоит только мне по-

желать, и не останется от твоего монастыря камня на камне... Захочу — и всех богомольных твоих монашек перепортят мои люди, научат их всем мерзостям и разврату и из святош и недотрог сделают потаскух... Я всё могу! У меня теперь столько силы и власти, какой не было никогда у твоего Бога!

«Да ведь он безумный! — подумала игуменья. — Но откуда у него столько гордости?»

Ужас охватывал ее, и только незримые силы небесные удерживали от отчаяния. Она обернулась и увидела подле себя Людмилу — она была как бы в забытьи; она шла, как лунатик в своем сомнамбулическом сне, не боясь ничего; так Орлеанская дева шла на костер. Она подошла к старшине, положила на его огромные, медвежьи плечи свои маленькие, легкие, белые руки и с доверием ребенка обратилась к нему:

— Вот я предлагаю тебе всё мое тело, еще не тронутое ничьей любовью, мою девичью гордость и честь, всю себя, тебе одному. Я всё покину ради тебя, сделаю тебя счастливым, и ты узнаешь со мной радость более сильную и беспредельную, чем твоя призрачная радость от неукротимой власти над слабыми людьми. Только не тронь монастыря! Прикажи твоим людям не дотрагиваться до наших святынь, не осквернять могил наших дорогих покойников, не покушаться на честь невинных и чистых, как дети, монашек, оставить всё, как есть, и я пойду за тобой, куда бы ты ни повел меня...

И по мере того, как она говорила, в этом большом и сильном буре медведе пробуждался слабый и робкий человек, и она вдруг увидела и поняла, что мир

проник в его ожесточенную душу. Он смотрел на нее, как смотрят на солнце прозревающие слепые. Теперь она знала, что не она, а он пойдет за ней, куда бы она ни повела его. Радость вернулась к ней, и она хотела раздавать ее всем и каждому большими пригоршнями; она хотела целовать его щедрыми, жаркими, неуголыми поцелуями, вспоминая все трудные имена разбойников, получивших от Господа венцы. О, как хотела она в это время быть порочной Аглаидой, благодаря которой Вонифатий стал святым!

ЖИВЫЕ ВИДЕНИЯ

Илья Андреевич приходился мне дядюшкой, он был старшим из оставшихся в живых в нашем роду — нашим родоначальником, патриархом, а для меня — как бы наставником в моей ранней жизни, и я, еще при жизни моего родителя, почитал его отцом. Своим обликом дядюшка в самом деле напоминал мне чем-то наших первых христианских епископов-патриархов и казался грозным, но никто не боялся его; смирение его поражало, и кротости он был беспримерной, и я нередко задумывался над немудреной жизнью этого мудрого старца, который был для меня примером во всем.

Когда в последний раз я был в Москве, дядюшка уже плохо держался на ногах, и хотя до крайности любил жизнь, он всё чаще говорил теперь о смерти и что время его уже пришло.

— А вот от Алеши всё еще нет писем...

Ему нельзя было сказать, что Алеши давно уже нет в живых, что он лежит в могиле неизвестного сол-

дата, и что, может быть, только он один всё еще не верит в его смерть. В поисках сына Илья Андреевич переносился от одной мечты к другой, из одной страны в другую, легко переплывая через океан, достигал берегов Нового Света, куда бегут теперь все плачущие, все обманутые и обиженные жизнью, и везде находил его живым. Видения не оставляли его, и он, со дня на день, ждал письма из заграницы. Сын для него никогда не умирал, ведь он не был при его смертном часе, ни при его погребении, не видел его мертвым, и помнит его только живым...

— Вот и ты, — говорил мне дядюшка, — тоже умирал уже много раз, почти с самых первых дней своего рождения, и продолжаешь жить, как будто смерти нет... А я хорошо помню, как смерть заглянула к тебе в колыбель, когда пожаром был охвачен весь дом, в котором ты родился; все забыли тебя, спасая мебель, ценные бумаги, предметы роскоши, срывая с окон пылающие портьеры, унося ковры... А ты, неразумное дитя, развлекался огнем, как новой, еще не виданной игрушкой, когда пламя уже коснулось твоей колыбели; она пылала, она была похожа на горящий факел, когда пожарники выносили ее из дома вместе с тобой... А потом, всё еще ребенком, ты умирал от сыпного тифа, сгорая, как на костре, в сильном жару, и через сорок роковых дней, что было для тебя тогда равносильно бесконечности времени, ты снова вернулся на землю к своей прежней жизни, ты не стал другим, только немного напуганным, как при рождении, и робким, как выздоравливающий больной... А потом, опять, ты

умирал от скоротечной чахотки, и монашки, подружки детства твоей матери, выходили тебя в монастыре; был ты мертв и стал живым! Но это ты уже сам помнишь... Совсем недавно ты умирал от сердечной болезни в горах Памира, и никто не поверил тебе, что ты жив, когда вернулся в Москву, и я поместил тебя за этой ветхой занавеской, за которой прячется вся моя бедность... Помнишь, как отхаживала тебя тогда Маруся Ратобельская, соседка по моей коммунальной квартире — прелестное, неиспорченное дитя! Не зная тебя, ни твоей болезни, она встретила тебя тогда на лестнице и поняла, что она нужна тебе; подхватив твой чемодан, который, как говорил ты, был для тебя тяжелее Горного Бадахшана, откуда ты вернулся больным, она легко внесла его в эту комнату, а тебя уложила в постель; ты пролежал в ней более года, расставаясь с жизнью каждый день... А разве забыл ты свою смерть от брюшного тифа в долине Вахша, в горах Таджикистана, или — когда ты дважды умирал от возвратного тифа в Хороге, на краю земли? Ты, конечно, не можешь вспомнить теперь, как много дней и как много ночей ты не жил тогда на земле, находясь в беспамятстве, и где была в то время твоя душа, пока снова не вернулся к своей земной жизни. И ты сам говорил мне тогда, что смерти нет. Как же могу я теперь поверить в смерть Алеши?

Слушая дядюшку, я был всецело на стороне его мистической души, хотя и с трудом припоминая все перечисленные им случаи моей смерти, не преодолевшие моих жизненных сил. И тогда я стал понимать,

что все наши беспокойства напрасны, что смерть — еще не есть смерть, и умереть еще не значит перестать жить... Как мог я не знать этого прежде?

.....

С некоторого времени Илья Андреевич занимал довольно поместительную комнату, в переднем углу которой, при самом входе в нее, была отделена занавеской кухня, которую сравнивал он с чуланом старьевщика. Здесь прятался от света всё еще не утративший своей былой красоты овальный столовый стол из палисандрового дерева с позолоченной бронзой по краям, словно одетый в дорожную парчу. У него тоже была своя родословная; над ним работали лучшие краснодеревцы Милана, придавая причудливые формы каждой ножке стола, изогнутой, как в пластичном танце; его украшали позолоченной бронзой, изразцами деревянной мозаики «маркетри», покрывали пожизненной живописью и неувядающей лакировкой; так работает скульптор над своим изваянием. А потом, в бережной упаковке, подобно хрупкой статуе, его доставили в чужую страну для светской жизни. Он принадлежал к благородному семейству чопорной мебели прошлого столетия и теперь доживал свой век среди грубых, недостойных его вещей, сброшенных в одну с ним грудку, наравне с людьми. Он служил дядюшке как бы свалочным местом, куда складывал он свои хозяйственные предметы домашнего обихода: грязные, почерневшие от копоти кастрюли и судки, столовую посуду, поражающую своим несоответствием, несуразным набором,

сочетанием красивого с безобразным, приятного с отвратительным. Наряду с тяжелыми, как гири, тарелками, мисками, блюдцами, вылепленными наспех из глины неопытной рукой, робко выглядывали, словно краденные, севрские чашки из бледно-голубого фарфора, легкие, как лепестки цветов; они никому теперь не были здесь нужны. В лучшие дни они появлялись на званых обедах и вечерах, к ним тянулись губами, как в поцелуе, едва касаясь пальцами тонкого ушка, и любители прекрасного смотрели на них долгим влюбленным взглядом, как если бы они были живыми и могли заговорить...

Среди оловянных ложек и съеденных ржавчиной вилок и ножей стыдливо пряталось благородное серебро, уцелевшее от прошлой жизни. Илья Андреевич не пользовался им, он даже не знал, что оно у него есть; потускневшее, давно не чищенное, грязное, оно все еще не могло примириться с равенством неравного, оставаясь чистопробным серебром...

В темный угол с чахоточными пятнами на стенах, куда дядюшка, по обыкновению, сбрасывал стоптанные башмаки, сношенные рубашки, пивные бутылки, склянки и пузырьки от лекарств, была загнана теперь за ненужностью великолепная хрустальная ваза, и лучи ее вырывались из мрака неммым укором, когда приоткрывалась наружная дверь. Почему она там, спрашивал я дядюшку, а не здесь, где бывает солнце, куда заглядывают деревья, цветы, для которых она была произведена на свет?

— Вещи, — замечал мне на это дядюшка, — живут жизнью людей... Они счастливее нас — у них нет памяти о прошлом... Вот и теперь они живут моей жизнью...

Ему ничего не было нужно, кроме оставшегося от прежней жизни вольтеровского кресла, возвышавшегося над окружавшей его нищетой, как трон монарха. Он как бы дремал в этом покойном кресле в часы досуга, но и тогда деятельная, беспокойная жизнь происходила в нем.

— Вот и царя не стало... — говорил он мне уже не в первый раз, как о чем-то новом, к чему привыкнуть не мог. — Бесчинства черни заменили теперь законную, легитимную власть...

И он рассказывал мне о видениях пророка Исайи, об Иудее и Иерусалиме в дни смятения и нечестия, сравнивал их с нашими днями. Он открывал «Книгу Пророков» и читал поразившие его слова о святом граде:

«Как сделалась блудницею верная столица, исполненная правосудия! Правда обитала в ней, а теперь убийцы...»

— Почему царь оставил нас, когда он более всего был нам нужен? — говорил он с осуждением. — Нельзя быть добрым, когда имеешь дело со злом! Правда, в добрых делах нет греха: страдание — свято! Он так много выстрадал...

Для дядюшки, в его религиозном сознании, Бог и царь всё еще сливались как бы в одну веру, в единство власти, и без Православия, говорил он, нет и России.

— По расчетам дьявола, — продолжал он, обличая князя мира сего, — со смертью Православия должна умереть и Россия, потому что этот брак нерасторжим; вот, и имени России теперь уже больше нет...

Крепкий, как камень, в своих убеждениях, дядюшка смиренно переносил невзгоды, повиновался новой власти, как заключенный повинуетя надзирателю в тюрьме. Его знала тогда вся Москва, он лечил и разбойников в Кремле, и в своих молитвах поминал их имена, продолжая жить своей жизнью; он не пропускал ни одной обедни, и больные знали, что в такие дни доктора надо искать в церквах. Все осуждали его — какое безрассудство! Это может стоить ему жизни! Другие, отвергнувшие веру своих отцов, поносили его. И Людмила, возлюбленная его дочь, которая отдала разбойнику свою молодую жизнь, спасая от разорения монастырь, порицала отца. Как изменилась она, что сделала с ней советская власть! Она хотела быть матерью своих детей, женой своего мужа, а стала потаскушкой...

— Она очень несчастна, — говорил дядюшка, смотря на меня слезящимися глазами, — она живет без любви; душа ее, как запущенный сад, заросший чертополохом... У нее есть семья, муж, дети, но ей никто не нужен, потому что в сердце ее нет любви; она одинока, как покойник среди живых людей... Дома у нее с мужем война, с первых дней ее совместной с ним жизни. И несмотря на такую долголетнюю неприязнь они продолжают жить в одной квартире, как в одной клетке, превратившейся в вертеп разврата. Мне об этом

трудно говорить... Она была любовницей всех комиссаров, даровавших ей жизнь, избавлявших ее от преследований; она целовала всех беглых политзаключенных и ссыльных, скрывая их в своей прогнившей постели; она жила со всяким бродягой и опустившимся на дно пьяницей, расточая им свои ласки; она спала с красными генералами и согревала своим телом красных убийц... Но как могло случиться, — произнес дядюшка немного погодя, подняв на меня свои слезящиеся глаза, — что несмотря на всё, они, такие разные, такие чужие друг другу, продолжают жить вместе, спать в одной постели, родить детей?

.....

Помню, как перед нашим последним расставанием, когда я оставлял дядюшку, отправляясь в дальнее путешествие на Памир, прозванный «крышей мира», он удержал меня; дрогнувшим голосом начал рассказывать о многовековой жизни образа Богородицы «Радости Всех Скорбящих», смотревшей в это время на нас из глубины дальнего угла; этот образ достался ему от моей прабабушки, матери его отца, и был освящен в Троице-Сергиевской лавре, под Москвой.

— Посмотри, — говорил мне дядюшка, указывая на образ и как бы проникая в него. — Не замечаешь ли ты, что на этом образе Богородица прильнула к Младенцу всей душой, но всё же не так, как мать к своему сыну? А это потому, что любовь Богородицы к Своему

Сыну не была подобна любви матери к ребенку — так любят только Бога!

Он с доверием посмотрел на икону и преклонился перед ней. Я понимал, что все молитвы его были обращены сейчас к Ней одной, к Радости Всех Скорбящих, и они были обо мне, о моей странствующей душе, напрасно ищущей на земле того, чего здесь нет, но слов его молитвы не было слышно.

— А теперь езжай! — сказал он строго, поднимаясь с колен. — Совершай свой жизненный путь в полном согласии со своим чистым сердцем... Помни и не забывай, что новая, незаконная власть, сеющая в сердцах людей семена ненависти, раздора и нечестия — призрачна и недолговечна, потому что власть неба сильнее власти земли. В мире ничего не изменилось; земля всё так же совершает свой небесный путь вокруг солнца, проливая на нас свое тепло и свет; за ночью наступает день, сменяются времена года, и хороводы млечных звезд справляют свои небесные праздники... Всё живет своей вечной жизнью по замыслу Творца, ибо вечность не имеет возраста, она не стареет и не умирает, у нее нет ни прошлого, ни будущего, ни начала, ни конца... Как суетны и ничтожны земные дела людей перед лицом Всевышнего!

Таким был мой дядюшка, Илья Андреевич.

СТРАНСТВУЮЩАЯ ДУША

Когда вздрогнул поезд и мимо окон закачались пьяные стрелки, я увидел вдруг, как всё мое прошлое, даже совсем недавнее, сдвинулось с места, стало отделяться от меня, уходить в непостижимую вечность. Смутно вспоминались мне последние часы расставания, но и они становились невозвратными, отмирая по мере того, как я удалялся от них. Помню, как отец укорял меня; он вложил в меня все сбережения своей любви, завещал мне все богатства своей непорочной души, передавал мне в наследство свою незапятнанную совесть, свое доброе имя и честь, нажитые им долголетним нравственным трудом, а я безрассудно оставляю его в поисках чего-то лучшего, чего нет на земле... И ему казалось, что я обманул его, украл у него радость, посмеялся над его отеческой любовью, и всё, для чего он жил, было напрасно.

Моя мать долго слушала его молча, и лицо ее было напряженным, как у человека, ожидающего не-

счастья. Ее верующая душа была полна сомнений; она хотела понять — не козни ли это искуителя-дьявола, или так хочет Бог?

Вошла сестра Лида и села у моих ног, как испуганная собачка. Она сказала:

— Я так и знала, что самое бóльшее горе приносят нам те, кого мы более всего любим... Как ты не можешь понять, что мать этого не переживет, а отца это тоже сведет в могилу... Откуда у тебя такое упорство? А ведь ты один можешь сделать их счастливыми...

Но я был уже далеко от нее, и вся эта, окружавшая меня, печаль, эти прощальные слезы не проникали глубоко в мою странствующую душу, очарованную будущим, каким обещала его мне обманщица-мечта.

Путь лежал длинный и трудный. Поезд нехотя раскачивался, как после долгого сна, распуская пары, стонал всеми своими железными суставами, и я успел заметить из окна вагона, как бежала, догоняя его, точно подхваченная ветром, показавшаяся мне очень одинокой, моя сестра Лида, живо напомнимшая мне снова испуганную собачку. Она задыхалась от быстрого бега, белая блузка вырывалась из ее синей юбки, волосы метались, как больной в постели, а она, делая мне какие-то знаки руками, звала меня домой, выкрикивая едва доходившие ко мне слова:

— Что ты сделал с нами! Что ты сделал с самим собой!

В вагоне было тесно и душно. Поезд дальнего следования шел медленно, не торопясь, удлиняя время, продлевая путь. Он подолгу останавливался на каждой захолустной станции, на безлюдных полустанках, словно хотел показать нам всё многообразие жизни земли и однообразие живущих на ней людей. Это был почтовый поезд прямого сообщения, он шел из Москвы в Туркестан, из Европы в Азию, с холодного севера на горячий юг. Он шел степью, которая не была в этих местах одного покрова, она не утомляла, изобилующая холмами и оврагами, временами прерываясь густыми, черными чащами или погружаясь вдруг в глубокие озера, и снова убегала в хвойные леса, и так всё время, пока не стали приближаться к бывшему Яику, к бывшим яицким казакам, в далекое прошлое русской жизни, где спокойной равнине приходит конец; нет здесь больше пасмурных дней, тоскующих по солнцу. Всё здесь пылает! Горячий песок бьет в стекла вагона, стучит по крыше, проникает во все щели, и уже у каждого он на зубах. Вагоны набиваются молчаливыми туркменами, одетыми тепло, как при морозе; они садятся на пол в пролетах, взбираются с ногами на вагонные полки, подбирают под себя ноги, как если бы они были в пустыне, в своей юрте. Присосавшись к своим длинным чубукам с горьким дымом, в котором находят сладость жизни, они вспоминают о лучших днях своей прошлой жизни, когда вся пустыня принадлежала им одним; их предки *гузы*, или *огузы*, названные царем Македонским туркменами за то, что своими длинными головами напоминали турок, были счастливее их,

потому что были свободнее. Эти потомки покоренных гуннами *алан* не были турками, а народом иранского племени, и жили они в стране *А л а н ь я*, у истоков Дона, в необъятных прикаспийских степях, и владели тогда всеми баранами земли. У них был свой царь, носивший титул «ябгу»; они платили ему дань — четыре *данека* в год, т. е. две трети *дирхема*, что, по-нашему, менее 20 копеек... Они тоскуют теперь по своим юртам, по своим баранам, по своей необъятной степи, по своей потерянной свободе. Среди них скотоводы, у которых советская власть отобрала скотину, хлопкоробы, у которых отобрали хлопок, шелководы, у которых отобрали шелк, и хлеборобы, у которых отобрали хлеб...

Теперь и я среди них. Свободная профессия журналиста не сделала меня свободнее их, потому что свободных профессий у нас нет, если не считать, конечно, самую древнюю из них, которую презирали римляне и почитали греки из Коринфа, города, прославившегося искусством любви. Но для этого надо быть женщиной и, к тому же, ослепительно красивой... Однако, что мне до них! Ведь я мог найти для себя какую-нибудь беспечную работу, не по призванию, где можно прослыть тихим и послушным, быть, например, грузчиком в порту, встречать нагруженные заморским зерном пароходы, видеть людей из другого мира, и они рассказывали бы мне о заморской жизни, дарили бы мне, как ребенку, разные любопытные вещицы, каких у нас нет, угощали бы душистым табаком... Но гордость не позволила бы мне заняться таким неразумным трудом, совсем бесплодным... Тогда, ничто не мешало бы

мне жить в лесу, рубить деревья, убивать дичь, уединиться в лесной сторожке, дать себе зарок молчания и не искать правды... А еще лучше было бы мне заняться благородным трудом земледельца, отвоевать себе приусадебный участок на колхозной земле, жить тихо, бесшумно, незаметно для всех, чтобы никто не знал, что я живу, и всегда копать в земле, на огороде... Но устав колхозной жизни суров, все осуждены там как бы на вечное поселение, и никуда по своей воле оттуда уйти нельзя... Нет, это не по мне, лучше уж смерть, чем неволя! А почему было мне не жениться на Марусе Ратобельской, отдать ей свою жизнь — она этого так хотела! Она говорила мне, повторяя слова Апостола, не понимая всего их значения: «С тобой готова пойти в темницу и на смерть!»... Где она теперь?

Но разве не лучше было бы мне тогда оставить всё, забыть всех, взобраться на святую гору Афон, населенную аскетами и монахами, поселиться в лавре, запрятаться в келью и встречаться там с одними лишь святыми отцами Церкви, мертвыми ныне во плоти; они так много знают! Они получали откровения с небес, у них есть чему поучиться... Но и они не были свободны от заблуждений, живя на земле...

А поезд уже далеко от родных мест, всё так же стонут вагоны всеми своими железными суставами, и опять перед мной бегущая за ним, точно подхваченная ветром, моя, очень одинокая, сестра Лида, похожая на испуганную собачку. И делая какие-то знаки руками, она зовет меня домой, выкрикивая при этом раздирающие душу слова:

— Что ты сделал с нами! Что ты сделал с самим собой!

.....

Вот и Тедженский оазис среди безбрежных песков, как маленький остров среди бушующего океана. Здесь есть река и водохранилище, здесь зреет виноград, наливаются соком земли медовые дыни, каких нигде нет, растут деревья, и в их тени, на мягкой траве, усталые верблюды лежат растянувшись, как мертвые. Бесшумно ступают между ними погонщики-туркмены в своих лаптях из козьей кожи, разгружают хлопковые тюки, другие — тихо дремлют, прислонившись к своим верблюдам; они живут с ними одной жизнью, всегда в песках, всегда кочуя, всегда в пути... В этих местах я уже не в первый раз; помню, как я добровольно оставил этот цветущий оазис, прельстившись «черными песками» Каракумов, которые уводили меня к голым, неживым горам Копет-Дага, за которыми лежала удивительная страна царя царей, восточных сказок, прекрасных выдумок и небылиц — всего того, чего в жизни нет. Какие-то чары привлекали меня тогда к разрушенным стенам крепостных валов, к тлеющим развалинам былой славы, к этому кладбищу ранних лет жизни земли. Какая-то прелесть приманки скрывалась для меня в кишачих паразитами лохмотьях нищих, которые читали нараспев любовные четверостишья-рубайе Гафиза и разговаривали между собой мудрыми афоризмами Саади... Какая-то тайна соблазна пряталась для меня в нечистых, плохо пахнущих покрыва-

лах восточных женщин, равнодушных к любви, которые не отличают одного мужчины от другого, выполняя перед ним свой долг... Поистине, думал я тогда, нет ничего, что не содержало бы в себе поэзии; она во всем и везде, в самом малом и в самом великом, а на загадочном Востоке она неожиданно раскрывается даже там, где ее нет... И мне казалось тогда, что весь сотворенный Богом мир представляет собой не что иное, как произведение Искусства!

Тогда впервые я встретился с пустыней, с надвигавшимися на меня сугробами больших барханов, напоминавших волны океана. Было красиво и страшно, но страшное не пугало меня, а влекло. Солнце, тем временем, разгоралось с поразительной быстротой, безжалостно сжигая все живое; оно было везде, куда бы я ни шел, и никуда нельзя было от него укрыться. Утопая в песке, я всё чаще останавливался, чтобы передохнуть от усталости, и тогда солнце, с каким-то дьявольским злорадством, набрасывалось на меня всем своим огнем; и тогда я стал понимать, что солнце может быть не только источником жизни, но и источником смерти. Как это возможно! Разве жизнь и смерть одно и то же? Тогда и в любви есть ненависть, и в добродетели есть порок... Нет, всё это непостижимо, всего этого понять нельзя или, может быть, у меня уже всё помутилось в голове от этого пылающего солнца? Да и жажда стала нестерпимой... Только бы один глоток воды! Сколько радости доставил бы он мне — этого никому не понять!.. Но ведь у меня есть полная фляжка воды, я взял ее с собой, я это хо-

рошо помню... Да, конечно, она со мной, но как взять ее в руки, когда она вся раскалена, да и вода в ней выкипела... О, проклятье! Только бы один глоток, и радость жизни вернулась бы ко мне...

Пламя охватывало меня теперь со всех сторон, как на костре, и только обманчивые миражи, эти призраки, иллюзии, видения помогали мне идти, как мечта помогает жить. Я видел где-то близко тихие селения, укрытые тенистыми садами, но они быстро исчезали, как только я приближался к ним. Всё мучительней было мне бороться с жаждой, она вызывала к жизни призрачные реки, и, всегда обманутый, я бежал к ним навстречу, преодолевая усталость. Но скоро жизненные мои силы стали убывать; откуда такая смертельная усталость, такое унижительное бессилие, такая старческая немощь, как будто я прожил уже несколько сот лет? Как я, должно быть, жалок, как я ничтожен и слаб! Хорошо, что никто не видит меня! И уже в беспомощности я повалился в горячий песок и стал сладко засыпать, как засыпают умирающие в снегу. И тогда отовсюду потекла ко мне вода. Я увидел прозрачные источники и бьющие из-под земли ключи со студеной водой. Передо мной возникали мечтательные озера, заросшие камышом, и дикая утка уносила трепещущую рыбу. Я заглядывал в колодцы, наполненные доверху водой, и куда только ни обращался мой взгляд — повсюду бежали веселые ручьи, превращаясь в реки, и уводили меня к морям и океанам. Теперь уже вся земля была покрыта водой, и я уже не шел, а плыл по этой широкой воде, которая накрывала меня

с головой, как утопленника; я шел ко дну и, в то же время, начинал понимать, что умираю от жажды.

Меня разбудили тогда верблюды звоном своих медных колокольчиков, в котором слышался мне колокольный звон последней праздничной заутрени в Москве. Добрые туркмены-погонщики доставили меня тогда живым домой.

А теперь?

ВЕСНА В КОЛХОЗЕ

1

Всё незаметно преобразилось. Еще недавно деревья дрожали раздетые и нигде не было видно черной земли. Люди, зябнувшие от лютых морозов, прятались во всякую тряпку, надевали на себя всё, что есть, и по этой странной одежде нельзя было отличить мужика от бабы, старых от молодых. Все в равной мере страдали от зимней стужи, и трудно было сказать, в чем больше терпели они нужду: в вязанке дров или в ломтике хлеба... А теперь — вся земля открылась вдруг, голые ветки зашевелились, снег тронулся, почернел и сник, и отовсюду побежала живая вода. Между избами, и дальше к коподцу уже протоптали веселые дорожки, но их скоро заливало дождем, и девки ходили по слякоти босыми. На проезжих дорогах еще стояла распутица, а в колхозах уже спешно составляли списки полевых

бригад, разлучали мужиков с бабами, матерей с грудными детьми, и гнали всех в поле перевыполнять нормы. Уже начали съезжаться из города бригады бездельников-надсмотрщиков, не доверяющие усердию колхозного крестьянства, и за малую провинность лишали их трудодней. Село пустеет, одни лишь тяжело больные да дряхлые старухи и старики, дни которых сочтены, кряхтят и стонут в заброшенных избах. Но и они просят в поле, чтобы заработать трудодень и быть равноправными едоками в своем колхозе.

В такое время отправился я с агрономом земаотдела в Смелу, на Мелитопольщину, богатую когда-то сахарной свеклой, выполнять свой долг советского журналиста.

Утро было влажное, и мы зябли. Агроном бережно и не торопясь скручивал на холоде папиросу, внимательно заправлял ее в мундштук и, подбирая с кожуха крошки, вкусом затягивался дымом. Не поднимая глаз, он сказал, ни к кому не обращаясь:

— Почему он везет нас по этой дороге? В такую распутицу и на грунтовой дороге легко потонуть, а тут тем более...

Повозившись с папиросой, он снова заговорил:

— Не езда, а мучение... Так, пожалуй, и к вечеру не доедем до села. Сколько ни едем, а всё еще кроме хвоста кобылы ничего не видно...

Слабая лошадь, вся в болячках, с трудом вытаскивала нас из густой грязи и часто подолгу останавливалась передохнуть.

— Она у тебя спит, — дразнил агроном возницу.

— Она не кормленная... — отвечал тот, не поворачивая лица.

Лошадь тяжело дышала и при этом слышно было, как что-то ворочается у нее в груди. Поношенная сбруя с поблекшими украшениями сползла на брюхо, острые бока безобразно выдавались из худого тела, шея вытянулась, и все ребра были видны.

— Что же нам делать! — продолжал агроном, не унимаясь. — Ждать здесь засухи или самим впрягаться в телегу? Где ты подобрал такую клячу?

— Она не кормленная... — повторил мужик и для виду стал пугать лошадь кнутом. Лошадь напряглась, вытащила нас из лужи и опять стала.

Тогда мужик рассерчал — он рванул вожжи и заиграл кнутом. Удары кнута ложились рубцами на больном теле, и животное нервно вздрагивало.

— Ты бы ее не кнутом, а лаской... — посоветовал агроном, добрея при виде страданий животного.

Но возницей уже овладел азарт, и страстно прикрикивая и присвистывая, он хлестал кобылу по тем местам, где было ей всего больнее. Лошадь рвалась из оглобель, некрасиво взбрасывая задние ноги, в то время, как передние упирались в землю, не шли. Наконец, после больших усилий ей удалось сдвинуть телегу с места, и она неловко побежала, задыхаясь. Но очень скоро ноги ее подкосились и, разрывая на себе сбрую, она тяжело упала в жидкую дорожную грязь. Агроном бросился помогать ей, ухватился обеими руками за хвост, стараясь вытянуть ее из слякоти, а в это время мужик бил кобылу кнутом по морде и под брюхо, и рвал уди-

лами посиневшую губу. Лошадь стонала. Она смотрела на нас смущенно и виновато, как смотрит провинившийся работник на своего хозяина. В ее доверчивых и покорных глазах не было ни упрека, ни жалобы, ни просьбы, а только смущение, какое испытывают всегда слабые перед сильными. Она хотела подняться и побежать, чтобы выполнить свою последнюю службу, и опять упала.

— Сдыхает, бедняга... — произнес агроном и отпустил хвост.

Лошадь металась. Она силилась поднять морду с мокрой земли, обнажая бледные, бескровные десна, но в это время густая, как пена, слюна, окрашенная кровью, хлынула из ноздрей. Возница поглядел на нее недобрый взглядом и вдруг оторопел; он бросил кнут и принялся освобождать лошадь от стеснявших ее оглобель и упряжи, как бы упрашивая ее не подыхать, и по всему было видно, что он чего-то боится. Он суетился вокруг нее, проявляя к ней последнюю заботу, на которую только способна была его равнодушная ко всему душа, и не хотел поверить, что кобыла помрет.

— Как же так! — закричал он каким-то загробным голосом. — Мне за нее отвечать!

И не теряя надежды, он снова принялся за кнут.

— Что ты делаешь! — строго прикрикнул на него агроном. — Ведь она мертвая!

Но он все еще не хотел этому верить, не хотел привыкнуть к этой пугавшей его мысли, не хотел признать, что всё кончено, и еще с большей силой принялся стегать кнутом мертвую кобылу.

Кругом нас собирались сумерки, земля чернела, и запоздавшие птицы торопливо искали свою потерянную ветку. Небольшие, кудрявые, как дети, весенние облака резвились над нами, разбегаясь по всему огромному небу, а потом снова собирались вместе, в большую черную тучу, заливая нас проливным дождем; мы прятались, среди дороги, под телегу, подле теплого, еще не остывшего тела павшего животного, дымившегося от испарений. Нас выручила тогда встречная подвода, которая и довезла нас в ближайшее село.

2

Высадившись у сельсовета, мы увидели на голом дворе молодую девку, которая скакнула через весь двор босыми ногами и мигом воротилась к нам.

— Кого вам надо? — сказала девка, утирая пальцами нос. — Председателя? Он, наверно, картошкой занят, у нас посевная картошка погорела в яме. Я схожу за ним... — и исчезла.

Скоро вошел в избу колхозный сторож, одетый по-барски в казенный тулуп, на время дежурства; он молча поставил на скамью чадящую лампу и, не вступая в разговор, быстро скрылся. Потом откуда-то появился в избе нескладный мужик с длинной и голой шей и очень короткими руками, в картузе и в сапогах, сильно вонявших дегтем, за что агроном принял его за председателя.

— Мы к вам по пути, у нас на дороге лошадь пала... — сказал агроном.

— Ну и что ж, — ответил мужик равнодушно, — теперь на деревне много коней поддыхает... Без корма, сами знаете, всякая живая тварь долго не выживет...

В это время дверь шумно растворилась и в избу ворвался энергичный человек в кепке, похожий на городского рабочего, еще не оторвавшегося от производства. Он накричал на мужика и стал гнать его из избы плохими словами.

— Я к вам за картошкой... — робко произнес мужик.

— За какой картошкой?

— За гнилой картошкой, которая в яме погорела...

Председатель посмотрел на нас и смутился.

— Она ведь всё равно погорела, — продолжал клянчить мужик, — ее всё равно сажать нельзя, а для мужика она корм. Распорядись, чтоб картошку ту не давали скотине, а мужикам. Бабы за нее дерутся...

— Вот видите, — обратился к нам председатель, — здесь у нас такое несчастье приключилось с посевной картошкой — задохлась в яме, — а этот дурак радуется...

Он с трудом прогнал мужика и, стараясь быть никем не услышанным, упрашивал нас не задерживаться на ночь в селе, потому что, говорил он, голодный мужик страшнее голодного зверя; зверь брюхо свое набьет и успокоится, а человек — нет!

Утром нас увезли в Смелу на сахарный завод. Мужики нам завидовали, точно мы ехали на курорт. Там люди жили сытнее и с удобствами, получали хорошие пайки, в выходные дни мылись мылом в общественной бане, стариков и детей брили наголо, чтобы не вшивели, и клопов там было меньше.

Нас встретил помощник директора, беспартийный специалист по сахароварению. Прежде работал он на заводе мастером, потом стал хозяином, приобрел семью и сбережения. Большевики сбережения забрали, семью оставили и велели ему работать на заводе за жалование. Был он человеком полезным и нужным, и его терпели, хотя от социализма он не приходил в восторг; он всё еще любил свой дом, свою семью, любил вкусно поесть и сладко поспать, и не задумывался над тем, как сделать счастливым все человечество.

— Да, это очень печально, очень печально... — повторял он без всякого чувства, выслушивая наш рассказ о павшей кобыле.

— Ну, что лошадь! — продолжал он, провожая нас к себе домой. — На селе теперь и живых мужиков мало осталось... К нам пригоняют на время сева из города счетоводов и машинисток... Жалко смотреть, как они обращаются с землей...

Дома у него было покойно, тихо; все здесь напоминало старинную усадьбу, уцелевшую от поджогов, но очень запущенную, как будто не жилую. В большой столовой, рассчитанной, вероятно, на семью из трех

поколений, стоял голый стол из красного дерева; тяжелый буфет подпирал стену, вдоль которой прятались, как краденные, разнообразные стулья, среди которых были и редкие для советского времени стулья с мягким сидением, со спинкой и ножками из гнутого дерева, словно выставленные на продажу коллекции редкостей.

— Вот; — говорил он весело, — выбирайте себе стул по вкусу и садитесь поближе к столу... Мы вас сегодня хорошо накормим... — и пошел звать жену и дочь. Но очень скоро вернулся сконфуженный.

— Горе мне с этими женщинами! — воскликнул он, как актер на сцене. — Напрасно я им сказал о вас; теперь все зеркала перебьют, пока оденутся... Они ведь тоже несчастные — всегда со скотиной, а человека не видят...

Однако, не успел он рассказать нам всё, что хотел, о женских нравах, как в столовую вошла его жена, не старая еще, но уже поблекшая, принуждавшая себя смеяться, даже когда не было ей весело. И эта гримаса делала некрасивым ее красивое лицо. Она, видимо, хотела понравиться нам и спешила рассказать о себе как можно больше, выставляя себя с выгодной стороны.

— Как приятно встретить интеллигентных людей, — говорила она упавшим голосом. — Я раньше тоже была интеллигентная и все принимали меня за д в о р я н к у, а теперь все принимают меня за д о я р к у... — и она с усилием засмеялась. — Вы не подумайте, что я отсталый человек, с предрассудками; я всегда на общественной работе, и дочь моя в комсомоле. Но

мне все же очень трудно понять, почему теперь нигде нельзя услышать хорошего слова? Поверьте мне, я скучаю не по людям, а по хорошим словам. Везде теперь только и слышишь ругань и грязную брань, и все стараются превзойти друг друга в сквернословии, точно плохие слова лучше, чем хорошие... А вот дочь моя не похожа на меня, ей решительно всё равно, каким языком с ней разговаривают. Более того, ее обижают нежные, ласковые слова больше, чем заборная брань. Она кричит на меня, когда я пытаюсь ее приласкать.

— Что это ты на меня наговариваешь! — запротестовала она, как-то внезапно появившись в столовой, словно из-под земли. Рыжие волосы на ней горели, что-то мальчишеское было в ее краснокожем лице, покрытом веснушками, а высоко поднятая грудь тяжело перемещалась при каждом движении, как у кормящей женщины. Это была здоровая девица, полная еще неизрасходованных сил и желаний. Она имела привычку прищуривать свои светлые глаза, как будто приглядываясь к чему-то, и, в то же время, не прекращала говорить:

— Одни родители относятся к своим маленьким детям, как к большим, а другие — к большим, как к маленьким. Мои родители всё еще относятся ко мне, как к маленькой, а мне их сюсюканье противно и гадко... Я всегда на активной работе среди рабочих и мужиков, и меня больше ничем удивить нельзя... Я давно заметила, что чем человек обходительней и осторожней в выборе слов, тем он фальшивей, хитрей и подлей...

Все примолкли, никто не решался возражать ей. Наконец принесли тарелки, хлеб и кипящий борщ в большом котле. Хозяин дома осторожно протягивает к каждому горло бутылки и сам быстро пьянеет.

— Кормят нас здесь, как видите, хорошо, — говорит он осмелев, — совсем как иностранных специалистов, а душа беспокойна... Говоря по правде, живем мы здесь, как под арестом, и никто меня за человека не считает, даже моя собственная дочь! Но я не жалуясь, я доволен; дочь моя в комсомоле, на ответственной работе, и, к тому же, она недурна собой...

Он нерешительно посмотрел на нее с любовью и продолжал:

— Сам директор проходу ей не дает. Я не против, пускай женится... может быть, и ко мне тогда не станет придираться. Я его страшно боюсь. Боже, как я его боюсь! Это не человек, а злодей, он похож на дьявола! Но... пускай женится!

4

На другой день мы отправились посмотреть свекловичные плантации, где уже прошел трактор. По нетронутой плугом меже далеко бежала зеленая полоса только что родившейся травы; она была хорошо видна на черном поле. Бригады женщин, одетых в разные тряпки, как нищенки, и все босые, разгребали лопатами грядки, а другие — шли следом и бросали в раскрытую землю семена. Кто-то худой, в солдатском картузе и в низких

сапогах, ходил за ними и считал грядки. Уже в полдень он знал, кого привлечь за невыполненную норму. Он ходил между бабами развалясь, лениво подгоняя каждую бранным словом. Увидев нас, он натянул картуз, принял боевой вид, как перед смотром, и стал показывать усердие; без особой нужды, он перегонял задние колонны наперед, производя беспорядок, и за это ругал женщин.

— Дружнее! — кричал он во все горло, чтобы мы его слышали, и стал принуждать женщин петь песни. Они уныло затянули знакомый мотив, но как-то нескладно и все по-разному.

— Дружнее! — кричал он на них, и сам хрипло затянул своим пропитым голосом, отчего кадык его пришел в движение. Девки засмеялись, но скоро вошли в строй и голоса всех разом слились в одну тонкую и быструю струю, которая исчезала и опять возникала, и падала где-то близко, разбиваясь брызгами о землю.

— Хорошо поют! — сказал подоспевший к нам помощник директора. — В городе таких концертов не услышите... — и хотел рассказать нам о чем-то для себя важном, но в это время женщины бросали лопаты и спешили к кому-то на помощь.

— Чего они? — спросил я, пребывая в странном недоумении.

— Не донесла, несчастная... — сказал с огорчением помощник директора. — Это часто у нас с бабами в рабочее время. Как только сев или уборка, все они с брюхом ходят.

Между тем, собравшиеся возле роженицы женщины волновались и упрашивали бригадира свезти больную в больницу на тракторе. Другие советовали привезти доктора в поле и просили бригадира выписать из колхозного амбара солому, чтобы не рожать ей на голой земле.

— Что вы мелете, дуры! — закричал на них бригадир и обозлился. — Трактор у нас не колхозный, а из МТС, и он за свою выработку тоже отвечает. А солома тоже не наша, и она есть фуражный корм, ее без ордера не отпускают.

Пока здесь спорили и рассуждали, роженица продолжала лежать на голой земле свосем раскрытая. Какая-то старуха на кривых ногах и с вывернутыми руками подкладывала под больную свою споднюю юбку и велела ей кричать сильнее, чтобы скорее выгнать плод, а сама села ждать.

— Так нельзя, — сказал помощник директора, отзывая в сторону бригадира. — Это просто срам смотреть, как женщина рожает на виду у всех. Человек не скотина, надо ее свезти в помещение.

— Вы не беспокойтесь, бабы у нас крепкие, они всё стерпят... — возражал бригадир, и стал жаловаться на плохую работу и частые простои, и что в рабочее время нельзя позволять бабам рожать детей.

— Всему свое время, — рассуждал он спокойно, не притворяясь. — Я не против того, чтобы бабы рожали — пускай рожают, только не в рабочее время. А то ведь они посевной план срывают, а мне за них отвечать. Они, стервы, только и ищут случая языком поче-

сать и от работы увильнуть. Знаем мы их! Вот смотрите, сколько теперь пропало времени даром! Одна рождает, а вся работа стоит... — и спохватившись, он бросил нас, и быстро шагая через грядки, пошел разгонять женщин по местам.

— Становись в колонну! — командовал он на другом конце поля.

— Я вас, сукины дети, быстро!..

Толпа поредела, и теперь роженица была отовсюду видна. Она не кричала. Прикрытая тряпками со следами свежей крови, женщина всё так же неподвижно лежала на голой земле и из глаз ее, как из раны, сочились слезы; она плакала тихо, совсем беззвучно, мелкими, выстраданными слезами, прижимая к груди мертвого ребенка.

ЧИСТЫЕ СЕРДЦЕМ

Был самый расцвет весны, когда поезд доставил меня, наконец, на станцию Самсоново, обращенную лицом к «небесным горам» Тянь-Шаня, а позади — гряда за грядой уходили в небо черные Гималаи, под которыми всегда пульсирует и колеблется земля. Отсюда прокладывали тогда железную дорогу, в глушь страны, к городу Душамбе, расположенному в прекрасной Гиссарской долине, высоко над нашей землей, под самыми облаками. Этот город не был тогда еще ни городом, ни деревней, хотя и назывался уже столицей Таджикистана; он лежал на пути в горную страну Памир, в былую провинцию Бухарского ханства, известную ныне под названием Горного Бадахшана. На вершинах Памира всегда снег, всегда лед, всегда бураны и вьюги, а в долинах — мучительная жара, которая в летние дни достигает температуры кипения воды. Огромные ледники заливают долины бурными реками, приносящими с собой золотой песок, и повсюду здесь

бьют из-под камней горячие ключи минеральных вод.

Задолго до нашего летоисчисления, в незапамятные времена, на протяжении многих тысяч лет, в этой высокогорной стране тихо жили, без ружей и копий, забытые всеми таджики, они же — с о г д и й ц ы, из иранского племени, или г о р с к и е п е р с и а н е, а позже их стали называть арабами по имени племени т а й, хотя и не были они арабами, а только принявшими их веру. Однако сами таджики ведут свою родословную от царя Александра Македонского, проникшего сюда из Бактрии и породнившегося с ними через местную княжну Роксану, хотя, по словам Марко Поло, таджикская знать происходит от «царя Александра и дочери царя Дария»... Вот в какую глубину истории уводят нас таджики, запрятавшиеся на много тысяч лет в исполинских горах Памира.

Приехав в Самсоново, я пересел на арбу с двумя огромными деревянными колесами, напоминавшими мельничные жернова; они лениво перекачивались, словно верблюды в пустыне, бросая меня от одного колеса к другому, как при сильной качке. В эту безобразную арбу была впряжена благородная арабская лошадь из нежной породы «кохейлан», верхом на которой восседал, как монарх на троне, возница-таджик; он всем своим обликом напоминал мне нашего русского мужика, я даже подумал тогда — не из раскулаченных ли он, отбывающих здесь вечную ссылку?

Он был молчалив, угрюм, неприветлив, как окружающие нас горы, жизнью которых он жил; но вот я заговорил с ним на языке нынешних фарсов, очень

схожем с его языком, и лицо его раскрылось вдруг, как растение на солнце, словно я привез ему привет из его прошлой жизни. Но радость его была короткой, скоро он завял и поник, услышав от меня похвалу новой железной дороге и переустройству сонной деревушки Душамбе в столичный город, что напугало жителей гор, как пугает птиц рубка леса; они стояли над своими разрушенными хижинами, как над раскрытыми могилами, причитая: разве может знать житель города, какою жизнью лучше жить жителю гор, какою радостью ему радоваться?

Таджик неодобрительно качал головой.

— Зачем нам всё это? У меня была здесь глинобитная хижина, а теперь ее снесли, сравняли с землей, и у меня нет больше своего дома, своего очага... Мы не любим город! В городе жить трудно, очень неспокойно, тесно и грязно... там всегда войны и драки, и люди не любят друг друга. В пещере жить лучше, чем в городе, у нас нет ни хозяина, ни работника, ни господина, ни слуги... Мы хотим быть свободными, какими создал нас Бог!

Всю дорогу возница рассказывал мне о радостной жизни в горах, как о вечном празднике мирового разума и мировой души, прославляемых в молитвах таджиками исмаилитской веры.

— Вот, — говорил он, — гонит таджик своего осла по шаткой подвесной горной дороге, настланной хвостом, и поет песню; он не боится упасть, потому что «мировой разум» руководит им, а «мировая душа» спасает его, и у него нет страха смерти; он боится

только за своего неразумного осла, не имеющего души, который несет в мешках из бараньей кожи пахотную землю, чтобы оплодотворить скалу. Так, изо дня в день, может быть, месяц или год он свозит на свою голую скалу землю, и ему будет довольно собранного с нее урожая. Он трудолюбив и благочестив, он все делает сам, ни перед кем он не в долгу, и живет жизнью верующего исмаилита, во всем полагаясь на посланника небес Ага-Хана и его потомков, говорящих от имени Бога. Для него, а не для себя промывает таджик золото в реке Пяндж. Для себя ему не нужно золото, которое не родит хлеба, не кормит овец, не дает молока и сыра и из которого нельзя построить себе саклю...

... Через десять дней я уже был на самой окраине нашей большой страны, и бесстрашный осел нес меня на своей спине, осторожно переступая своими тонкими и легкими ногами по едва державшейся подвесной дороге, где жизнь и смерть ходят рядом. Я приближался к городу Хорогу, к этому центру нежилого Горного Бадахшана, по улицам которого плавают облака. Заваленный безобразными камнями, этот город напоминал о первых днях сотворенной Богом земли. Здесь небо показалось мне ближе, чем земля, и воздуха земли становилось все меньше и меньше.

На перевале, на отвесной скале, смотревшей в бездну, стояла сложенная из камней чайная-сакля; в этой черной дыре, наполненной дымом, я решил переночевать со своим ослом. Мой «ноукер», проводник, он же мой телохранитель, старался защитить меня от толпы таджиков, в пестрых, как полевые цветы, халатах. Но

они, полные решимости, требовали допуска их к «писарю» из Москвы. Я вышел к ним; я спросил у несчастных, чего им от меня надо?

— Добрый господин, — говорил за всех один наиболее смелый старик, пригибаясь при этом, как будто его ужалила змея, — за что притесняют нас русские, которые были нам всегда братьями? Они увозят от нас всё, что у нас есть, и не дают нам ничего... Они принуждают нас разорять наши хижины и сакли, в которых мы живем, и строить «чугунные» дома, в которых мы никогда не будем жить.

Он стал просить меня передать в Москве жалобу русскому царю на советскую власть.

— Русские были нам всегда братьями, — повторял старик, смотря на меня слезящимися глазами. — Мы жили с русскими, как братья, они не брали у нас ни даней, ни податей, ни оброков, привозили нам разные ткани из хлопка и шерсти, и не было у нас недостатка ни в сахаре, ни в чае...

Каким простодушным и наивным, подобно неразумному ребенку, показался мне этот старый таджик! Он всё еще живет в приятном заблуждении, вспоминая прошлое, как если бы оно было настоящим.

В Хороге, однако, ничего не изменилось; с какой-то странной медлительностью приближалась сюда советская власть; таджиков и горно-бадахшанцев даже забыли внести в первую советскую конституцию (какая редкая забывчивость!), а стоявший здесь русский пограничный отряд продолжал служить русскому царю. Их было немного, этих старых, выносливых, вер-

ных своей службе русских солдат и офицеров с семьями; состарившиеся давно уже ушли на покой за выслугой лет, другие преждевременно умирали в суровых условиях высокогорной службы, а пополнение не прибывало; они надеялись, что новая власть забыла их, как она забыла в то время таджиков и горно-бадахшанцев, и решили навсегда поселиться в этой глухой тиши скалистых гор. Они уже как бы смешались с местным населением, подражая их привычкам, даже манере передвигаться по горным тропам, карабкаясь и приседая, как мартышки; они ассимилировались здесь, уподобились таджикам, оставаясь в то же время русскими; никто не мешал им здесь жить своим старинным укладом жизни, справлять праздники по православному календарю, соблюдать посты, почитать родителей, поминать покойников, любить Бога. Старый священник, отец Феодосий, давно переселился в лучший мир, не оставив себе преемника; с того времени не было у них соборного богослужения и каждый служил литургию в своей душе.

Меня поместили в семье штабс-капитана императорской армии, отличного садовода, которого таджики называли колдуном; они не верили, что камни и песчаник могут родить деликатные яблоки, капризные абрикосы, избалованные солнцем персики и долгоживущий виноград, который нуждается во всем, чего здесь нет. У него были свои луга, у подножья гор, подобно альпийским, всегда зеленые, так что овцы и козы весь год жили на подножном корму; у него был огород при доме, который кормил их всеми плодами земли; у него

была русская печь с лежанкой, и всегда в ней что-то пеклось, варилось, жарилось, и была у него русская баня, из которой больные выходили здоровыми.

Здесь жили отец и дочь, штабс-капитан со своей дочерью Дашей, всегда вместе, всегда неразлучно, всегда нераздельно, и друг без друга они не могли бы жить. Дашу нельзя было принять за таджичку, хотя и переняла она у туземных женщин весь их наряд, звенели на ногах ее браслеты, блестели на груди ее монисты из бус, монет и разноцветных камней, и, подобно им, она прятала свое тело в широкие шаровары, прикрываясь шалью, как чадрой. Но под ее живописным нарядом горно-бадахшанской женщины жила душа Ярославны из Путивля с христианским благочестием.

Здесь отдыхала моя странствующая душа, мне было хорошо, как в теплом жилом доме в непогоду; пусть, думал я тогда, разрушается ветром весь Гималайский хребет, пусть гроза сотрясает всю землю, пусть разливаются все реки и молния поджигает всё небо — мне всё равно, только бы Даша была здесь, со мной. Она рассказывала мне всё больше о небесном, о жизни мертвых, об ангелах света и архангелах, о праведниках, подвижниках и мучениках, освободившихся от уз неукротимой своей плоти, и все они, неспособные к земному счастью, которое придумали для себя люди, пребывают теперь там, выше неба, в надзвездном мире, и поднимаются еще выше, чтобы узреть Агнца, к источнику того счастья, которого нет на земле...

Я прерывал ее мечту рассказами о земном, о новой, безобразной жизни на русской земле, где нет прав-

ды, где грабят богатых и бедных, избивают слабых, везде теперь стоит плач и стон, и нет числа свежим могилам...

Она не могла всему этому поверить, потому что всё это не вмещалось в ее чистом сердце. А была тогда последняя великопостная неделя, и она останавливала меня на каждом слове, говоря, что не время в такие дни говорить о нечестивом.

— Сейчас каждая душа скорбит, — прервала меня Даша. — Сейчас нашего Бога люди судят!

— О чем вы здесь? — сказал, входя, садовник и посмотрел с особенным интересом на Дашу, потом на меня, о чем-то догадываясь, что-то поняв по-своему, и аккуратно сел у стены на сбитый войлочный ковер. Лицо его выглядело усталым, серым, он показался мне совсем старым, больным. Он снова посмотрел на Дашу и стал говорить о другом, не о том, о чем сейчас думал. Он рассказывал о плодах, истощающих землю, пожаловался на яблоню, которая худеет (он так и сказал «худеет», а не сохнет) и одной стороной совсем уже плоха.

— Ее ветер студит, — рассуждал он как бы с самим собой, — холодные здесь ветра, ледниковые, как при сотворении мира... Надо ее теплее укрыть, а то помрет...

Даша слушала его рассеянно, без внимания, думая о чем-то своем, чрезвычайно для нее важном, и, не зная вполне почему, она заплакала.

— Чего ты, Дарья? — спросил отец, хотя отлично знал, какая жизнь происходит сейчас в ней; на ее оду-

хотворенном лице можно было увидеть всё, что совершалось в эти дни на земле и на небесах.

Скоро наступила ночь. Все попрятались по своим углам, и стало как-то очень тихо, пусто, одиноко. Лежа на худых ряднах, я прислушивался к этой неподвижной тишине, стараясь запомнить и понять эту маленькую, неприметную на земле жизнь людей, показавшуюся мне вдруг весьма значительной.

За тонкой стеной слышались всхлипывания Даши; была Великая Пятница и Даша хоронила Христа. Я понял тогда, что Даша плакала не напрасно.

В ГОСТЯХ У ТАМЕРЛАНА*

На вокзальной площади Самарканда полно людей. Все покорно и безропотно ожидают своей очереди на билет, как ждут неудачники выигрыша по Внешнему Государственному Займу. Такой порядок заведен здесь надолго, может быть навсегда, и пассажиры привыкли к нему, никто больше не спешит к поезду, рассчитывая только на счастливый случай, на удачу. Привокзальная площадь стала для них как бы родным домом, они обжились на ней, как цыгане на новом месте. У всех развязаны дорожные узлы, раскрыты чемоданы, разобраны неприглядные пожитки, всё их добро, накопленное в результате целой жизни. Здесь же, на площади, они варят чай в жестяных чайниках, пекут ржаные лепешки на древесных углях, играют в карты или в нарды и, несмотря на пылающую жару, пьют водку стаканами. Быстро пьянея, они сразу засыпают мертвым сном.

* В новой редакции.

Горячее солнце сжигает мысли и желания. Нигде не видно бодрых, жизнерадостных людей, не слышно птиц, притаившихся на голых ветках. Всех клонит ко сну. В ожидании старомодного извозчика, которые поныне не перевелись в этих местах, я с трудом преодолеваю дремоту, стоя на открытом месте.

— Лошадь здесь дороже паровоза... — заговаривает со мной раздраженный пассажир, приглашая меня присесть среди дороги на его деревянный сундучок.

— Да... — продолжает он, — лошадь можно съесть, а паровоз — нельзя...

Не знаю, шутит ли он, или говорит правду, но извозчика всё еще нет, как будто на самом деле съели по дороге его лошадь. Скоро, однако, показывается из-за поворота разбитый экипаж, бегущий вприпрыжку по неровно вымощенной мостовой, и на нем возница-узбек, одетый в теплый стеганый халат. Толпа пассажиров, преисполненная решимости, шумно бросается к нему, но не многим удастся взять с бою место.

— Зачем скандал? — равнодушно говорит узбек. — Не надо скандал, не хорошо... — поучает он пассажиров и обещает к вечеру всех нас доставить в город.

Наконец, кляча везет меня в красную чайхану, напоминающую снаружи средневековую развалину. Несмело вхожу я внутрь и сразу слепну. От лежащих на нарах одеял и верблюжьего войлока под ногами слышится удушливый запах разложения. Привыкнув к темноте, я начинаю различать среди наваленных одеял

и подушек угрюмых узбеков со сверкающими глазами. Они сидят свернувшись, как притаившиеся зверьки, высматривающие добычу.

Вертлявый мальчуган с красными больными глазами несет мне на подносе костер с дымом, из которого выглядывает обуглившийся чайник с отбитым носом, и при нем глиняная чашка-пиала. Бедность делает людей подозрительными и робкими; тайком достаю я из своего вещевого мешка припрятанный в дорогу сахар (какой диковинкой был он здесь тогда!), но добрые люди советуют мне быть осторожней.

— Вы здесь человек новый, — говорит, придвинувшись ко мне, услужливый узбек в нарядном халате, надетом на голое тело. — Разве можно показывать на людях сахар, когда все здесь носят при себе острые ножи? Спрячьте! — настаивает он, проявляя ко мне странную заботу и сильно волнуясь, как будто я держал в руке не сахар, а слиток золота. Хитро усмехаясь, он шепчет мне в это время на ухо, чтобы его никто не услышал:

— За такой кусок сахара, а если прибавить к нему еще осьмушку чая, вы сможете купить себе здесь самую красивую жену!

Наутро я не нашел своего вещевого мешка и «добророго» узбека. Радуюсь, что остался жив, я незаметно выбрался из этой красной чайханы и направился в более цивилизованную часть города, где жили советские чиновники и знатные партийцы, как это принято в колониальных странах. Вот и Средне-Азиатский университет, новоотстроенное здание, совсем голое, лишенное

восточной прелести, на котором отразилось наше время; на его стенах нет даже напоминания о богатстве вкуса и красок былой мозаики, которую оставил нам древний Восток, доживающий свою многовековую жизнь на сохранившихся еще среднеазиатских постройках.

— Чего вам? — встретил меня университетский сторож, прервав мои размышления о прошлом. — Приезжий? Из самой Москвы? Значит, вы тоже восточник? Ну, тогда можете поселиться у нас. М е с т о в здесь много — все наши аудитории пустыют; летом, кроме мышей, никого тут нет, даже поговорить нет с кем... Только спать вам на голой скамье — постелей у нас для приезжих нет... Не гостиница...

Сторож, видно, на самом деле долго скучал без людей, а живая душа искала случая поговорить.

— К нам, — говорит он, — приходит, другой раз, переночевать один ссыльный ученый, без руки... Его здесь все знают, может, он и вам известен? Так этот и скамейки не спрашивает, спит у порога, на голом полу, точно бездомный пес...

— Не профессор ли Поливанов? — поинтересовался я.

— Он самый! — подтвердил сторож.

— Неужели он жив?

— Жив еще, бедняга... Только лучше было бы ему не жить; такой жизни мало кто будет рад... — и он не стал продолжать о нем разговор, чтобы не терять времени. Сторож, очевидно, не мог знать, что профессор Поливанов был ученым-востоковедом с мировым име-

нем, открывал новые пути в изучении сравнительных языков Дальнего Востока и языков забытой Океании; был он, в свое время, опасным соперником прославившегося на Ближнем Востоке английского полковника Лоуренса и исполнял самые рискованные предприятия в Абиссинии; он был китайцем среди китайцев, индусом среди индусов, арабом среди арабов, персом среди персов, и эфиопы признавали его своим. Что же случилось теперь? В чем провинился ученый перед советской властью, за что лишили его академических и гражданских прав, почему увезли его тайком из Ленинграда в неизвестность, чтобы все его забыли, чтобы угасла память о нем? Так хотел красный диктатор, этот трусливый деспот, боявшийся собственной тени.

Память возвращала мне сейчас профессора Поливанова таким, каким я знал его тогда, и я не мог представить себе его другим; я припоминал дословно всё, что он говорил о прошлом, как о вечном, без которого не могло бы быть того, что есть... Прошлое, говорил он, никогда не умирает, оно передается нам по наследству, как дурная болезнь... У нас, говорил он, так мало воображения, так бедна наша мысль, так скудны наши знания, что мы постоянно и неизбежно обращаемся к прошлому, ибо будущее закрыто от нас, мы не знаем его...

— Где же я могу найти профессора?

Я горел нетерпением, а сторож не торопясь почесал затылок, переступил с ноги на ногу и, медленно думая, посоветовал мне искать его, лучше всего, в старом городе, где больше нищих, бродяг и калек...

.....

Вот я снова в старом Самарканде, в котором долго царствовал хромой Тимур, из рода барласов, прозванный Тамерланом за свою хромоту; он родился в прекрасной долине Кашка-Дарья, в окрестностях зеленого города Шахрисябз, в двух днях пути на неторопливом осле от нынешнего Самарканда. Он был тюрком по рождению, притворяясь монголом, потомком Чингиз-хана, чтобы устрашать его именем страны азиатского материка и восточной Европы. При помощи азиатского вероломства, низложения и убийства своего покровителя эмира Балха Хусейна и брака на его вдове, Тимур породнился с ханским домом и получил право на титул гурган, а это было равносильно титулу падишаха. Владения его тогда уже были необъятны и неисчислимы, но тиран облюбовал для себя Самарканд; вначале он превратил город в свою крепость, а позже — в столицу, поместив захваченную им казну и богатства покоренных народов в Самаркандскую цитадель. Он любил искусство, любил астрономию, любил науку; он обращал в невольников лучших для своего времени зодчих, искусных мастеров-орнаменталистов, резчиков по дереву, каменотесов и поэтов, чтобы они прославляли его в камне, в мраморе, в гипсе, в стихах... Так, трудом невольников был воздвигнут нынешний Самарканд, который, по замыслу Тамерлана, не должен был иметь себе равного. Эти мертвые камни и мрамор, гипсовые изваяния и изразцы, которые поныне украшают площадь Регистан,

могли бы рассказать многое о жизни рабов «повелителя земли», когда дети, приходя в отчаяние, проклинали своих матерей за то, что они родили их...

К тому времени власть Тамерлана была беспредельной, неограниченной и неукротимой, а он всё еще боялся соперников; он хотел, чтобы вся земля принадлежала ему одному. Он говорил: *«Всё пространство населенной части земли не стоит того, чтобы иметь двух царей!»*

...Всё повторяется, говорил профессор Поливанов, прошлое живет в настоящем...

После похода в Индию, уже тяжело прихрамывая, больным, Тимур пожелал построить, на удивление всему мусульманскому миру, Самаркандскую Соборную мечеть по имени Биби-ханым; этой красавицы-мечети не было бы здесь, если бы не было всепокоряющей любви. Неукротимый тиран, которого *«не могли удовлетворить все государства мира»*, — как гласит надпись на его могильной плите, строил ее во славу плененной им невольницы — маленькой, кроткой, покорной китаянки, которая вся принадлежала ему одному, и этого было ему слишком мало; ибо душой невольницы он овладеть не мог.

Я ходил среди этих напоминаний о неуголимой любви самого могущественного тирана своего времени, среди развалин его ненасытного честолюбия и неудовлетворенных желаний, заглядывал в мавзолей Гурэмира, где покоится его прах, тлен, ничто, и повсюду, как в старину, меня сопровождали здесь нищие, одетые в грязные рубища, кишашие насекомыми; они выпраши-

вали милостыню во имя Бога милостивого и милосердного. И так же, как в старину, голубая мечеть Биби-ханым, одетая в нарядную, не стареющую мозаику, отражала на себе все краски небес, изменчивые в этот предзакатный час. Она была хороша собой, ее можно было любить, как живую. И мысли о том, что всё повторяется, что прошлое продолжает жить в настоящем, не оставляли меня нигде, куда бы я ни шел.

Я останавливал встречных, по преимуществу туземцев, одетых опрятно и чисто, в расшитых шелком полосатых халатах, по которым узнают здесь образованных людей, спрашивая каждого о профессоре Поливанове, которого хорошо знают в цивилизованном мире, но никто из них не знал его.

— Может быть, он жил при Тамерлане? — говорили шутники. — Тамерлан очень любил писателей и ученых, когда они были ему нужны, а потом выкалывал им глаза, отрезал язык или сажал в клетку, как это он сделал даже с могущественным турецким султаном Баязетом...

Заглянув в чайхану, я спросил у оборвыша со струпами на голове и с бельмом на глазу, который вышел из темноты, точно разбойник, и поставил передо мной чайник.

— Послушай, — заговорил я с ним, — не бывает ли в твоей чайхане один русский ученый, без руки?

— Без руки? — оживился вдруг «разбойник». — Этого бродягу вы можете легко найти по запаху опиума... Он везде, где только слышится эта вонь...

— Разве он курит опиум?

— Он не только курит, он его жрет...

Я оставил свой недопитый чай и пошел искать профессора по запаху опиума, очень приторного и дурманящего, как сильно пахнувшие цветы. Сразу за чайханой было свалочное место. Дальше тянулся низкий забор из глины, за которым прятались абрикосовые деревья без листьев и без фруктов. Дальше видны были жилые дома, похожие на мусульманские могилы, с плоскими земляными крышами, поросшими травой. Тем временем, какие-то странные люди, одетые в лохмотья, смертельно-бледные, с возбужденными, страстными глазами спешили к своей заветной затяжке опиума, точно на любовное свидание. Я шел за ними. Они пригласили меня к костру и стали расспрашивать, почему я здесь? Я им во всем признался, и мне поверили. Тогда старый узбек, похожий на обуглившееся дерево, открыл пустой рот, посмотрел потухшими глазами на солнце и сказал с усилием:

— Вы подождите, он скоро будет... — и потянулся к трубке. — Только не обижайте нас, — прибавил он погодя. — Нельзя говорить человеку плохо о том, что любит он больше жизни...

Неподалеку лежал мертвый баран со снятой шкурой, совсем голый, и девочка лет девяти стояла над ним с ножом. Она легко потрошила еще теплое тело животного, вырезывая тут же куски окровавленного мяса, и сразу клала их на огонь. Все с жадностью набрасывались на мясо, в котором запеклась кровь, и разрывали его черными зубами.

Далеко в горах умирало солнце, и очень скоро всех нас поглотила темнота. И тогда слышнее становился каждый шорох и звук, пропадавшие при свете.

— Марду-у-ум! Люди!.. — слышался из темноты голос, как будто призывавший на помощь. Все зашевелились, уступая место учителю.

Теперь я узнал его, хотя был он выбрит, как ка-торжник, стал даже ниже ростом, одет в рубаху с чужого плеча и босой. Пустой рукав левой руки, которую потерял он при странных обстоятельствах, не был заправлен в штаны и его относил ветром, когда профессор, услышав сладковатый запах опиума, некрасиво побежал ему навстречу.

— Дайте место учителю, дайте место... — повторяли один за другим находившиеся в наркотическом сне люди.

Он застенчиво сел поближе к огню, приласкал каждого добрым словом и жадно припал губами к дымящейся трубке. Глаза его блуждали, как у больного, они что-то просили, на что-то жаловались, кого-то звали, хотели сказать что-то очень важное. Мне было неловко и стыдно быть свидетелем его тайны, и я хотел незамеченным уйти от этого костра, исчезнуть, забыть всё увиденное, не знать его. Но было поздно. Блуждающий взгляд профессора остановился на мне, он узнал меня. Я был пойман им как бы с поличным, точно вор с украденной у него тайной, и мне показалось тогда, что это я, а не он, пригвожден к позорному столбу. Он не отводил от меня своего укоряющего взгляда, и неохотно отнимая трубку от своих губ, сказал мне

строго, как, бывало, говорил со студентами на проверочных испытаниях:

— Почему вы здесь?

И горько усмехнувшись, добавил:

— Я знаю, почему вы здесь! Вы пришли посмотреть на меня, как смотрят молодые люди на падшую женщину...

Я молчал, пристыженный.

— Что же вы не смотрите! — закричал он вдруг, выронив из руки трубку. — Смотрите на меня, любуйтесь! Ведь я сейчас голый перед вами! Почему не смеетесь надо мной? Но мне теперь всё равно. Я ссыльный. Слышите, ссыльный! Чего же вам еще от меня надо? — и дрожащей рукой он снова потянулся к трубке.

Все старались ему угодить, подкладывая в гаснущую трубку бережно нарезанные кружки вязкого опиума, раздували огонь и предлагали ему сочащееся кровью мясо.

Отстраняя мясо, профессор снова потянулся к трубке, и не отводя от меня укоряющего взгляда, обратился ко мне:

— Помните, я учил вас вечному, постоянно повторяющемуся, никогда не умирающему, всегда живущему, но его уже больше нет. К чёрту прошлое! К чёрту будущее! Ничего не было и ничего не будет. Есть только настоящее, есть только то, что есть!

С трудом приподнимаясь с земли, как умирающий больной со своего смертного одра, профессор закричал каким-то плачущим голосом отчаяния:

— Оставьте меня!

И в его блуждающих глазах были видны слезы.

НЕ ПОМНЯЩИЙ РОДСТВА

Мы взяли себе за правило встречать в редакции новичков-рабкоров как равных собратьев по перу, не замечать их малограмотности, не давать им повода для обиды и, подобно истинным альтруистам, жертвовать своим авторским самолюбием и писать за них. Они охотно подписывались своими именами под каждым таким подлогом и начинали верить в свое призвание, принимая чужое за свое. Нам было трудно жить и работать с этими грубыми, всегда обиженными, всем недовольными людьми, обвинявшими нас в том, в чем им природа отказала.

Но вот, прислали к нам как-то очень робкого рабкора, испуганного, как потерявшаяся собачка; его, видимо, совсем недавно подобрали на улице и он еще не успел обжиться среди людей. Этот дичок обладал странной для своего уличного воспитания стыдливостью, краснел без причины в разговоре, прятал, как провинившийся, глаза, и не мог внятно выговорить даже

своего имени. С трудом мы расслышали, что зовут его Ж а н о м, и переглянулись между собой — до того не шло к его простоватому русскому лицу такое не русское имя.

— Ж а н... — повторил он, робея, как будто его ждало за это тяжкое наказание.

— Почему же Жан, а не Иван? — поинтересовался я, заметив такой же недоуменный вопрос на лицах других. — Разве ты не русский?

— Русский... — подтвердил он, смешавшись, точно уличенный во лжи.

С малолетства все звали его Ванькой, как зовут собачку Жучкой, а это глубоко оскорбляло его детское самолюбие. Он не хотел быть тем, чем он есть; ведь всё в его жизни могло быть совсем по-другому, родился он на самом деле Жаном, а не Иваном! Само рождение его оставалось для него загадкой; он не знал, кто дал ему жизнь и почему советская власть забрала жизнь у родивших его? Что сделала она с ними и для чего?

Он рос, как зверек в лесу, и более всего боялся человека; запах жилья пугал его, как пугают птиц хитро расставленные сети. Он не боялся только травы, деревьев, звезд, неба... Каждый темный куст внушал ему больше доверия, чем настезь распахнутые перед ним двери. Он ложился под этот куст, как в ясли, и думал с надеждой о матери, как верующие люди думают о Боге. Где она? Может быть, она живет в этой мягкой душистой траве, которую топчет он своими ногами? В каждой капле утренней росы, в каждом луче заходящего солнца он видел ее отражение. Ее голосом пели для

него все птицы, шелестели листьями деревья, разговаривали бегущие ручьи. Она жила везде и во всем, что было прекрасно и чисто и что не было похоже ни на кого из живущих на земле людей.

В непогоду он укрывался на кладбище, в запущенной, брошенной православными людьми часовне; со времени новой власти мало кто заглядывал сюда отслужить панихиду, помолиться об упокоении души усопшего, боясь людей больше, чем Бога. Кладбищенский сторож оберегал часовню от разрушения, поддерживал в ней жизнь, исправно заправлял маслом гаснущие лампы, менял истлевший фитиль, и душе его становилось от этого светлей, покойней.

Жан запомнил этого кладбищенского сторожа навсегда; это был вздорный старик, приучавший одичавшего малыша к жизни рассказами о горячих розгах и плетях, от которых, говорил он, корчится тело и трещат кости, и которыми можно забить насмерть...

— Ежели ты дитя безродное, — поучал старик, — то кто же вразумит тебя, непутевого, как не плеть? Она для тебя теперь, что мать родная...

Вид у него при этом был важный, как у сановника, и в его дремучем лице жила твердая уверенность, что делает он доброе дело, спасает душу, наставляет неразумное дитя на путь истинный и праведный...

Эта часовня была для Жана, поистине, храмом без алтаря; он обучился здесь грамоте, читая требники и часослов, заглядывая во все церковные книги, которые находил тут, и потому говорил он странным для нашего времени монастырским языком, употребляя в разго-

воре «яко» и «паче», вместо «спасибо» говорил «спаси Бог», а водку называл брагой; он не говорил, а глаголил, и в редакции потешались над его газетными сообщениями, походившими на державинский стих. А он покорно сносил все наши насмешки и грязные шутки, даже сам помогал нам смеяться над самим собой.

Он любил говорить со мной о задушевном.

— Неужто, — спрашивал он пытливо, — до конца наших дней писать нам чепуху, яко тварь неразумная?

— Да, — отвечал я безутешно, — до конца наших дней...

— Да разве ничего иного акромья сего вранья нет сущего?

— Наверно, есть, — отвечал я уклончиво, — да как знать нам об этом?

— А Бог есть? — спрашивал он вдруг, загадочно поглядывая на меня.

— Есть! — отвечал я не задумываясь. — А ты как полагаешь?

— Вот сего я и не ведаю...

Скоро, однако, не стало среди нас Жана, война забрала его от нас, нарядила его в военную форму, научила его стрелять из всех видов оружия и отправила на край земли, к берегам беспокойного и капризного Каспийского моря, к сыпучим пескам Кара-Кума с их жарким солнцем и всегда безоблачным небом, к своим нравным горам Копет-Дага, и дальше, в страну царя царей (это было похоже на выдумку, на сказку!), о которой он знал не больше, чем о загробной жизни.

После долгого и трудного похода они перешли персидскую границу и направились в глубь страны, в зону советской оккупации. В населенных местах персы прятались от них в подвалы, более храбрые — показывались на крышах домов, а пастухи угоняли своих овец в горы, как можно дальше от советских солдат. Пустыня сменялась солончаками, безжизненные горы — цветущими долинами, мертвые степи — фруктовыми садами, но нигде не находили они питьевой воды. Страдая от зноя и жажды, они подошли, наконец, к древнему городу Казвину, очень благочестивому, и расположились в его окрестностях. Через этот город в свое время пришли в Персию завоеватели-арабы, принесшие персам Ислам, и отсюда пошла и начала быть мусульманская империя нынешних фарсов.

Этот город с незапамятных времен был приманкой для завоевателей, он стоит на скрещении двух дорог, и одна из них, военная дорога, уходит к северной границе, и идет дальше, за ее пределы... Город как бы окружен виноградниками, они расположены террасообразными квадратами, подобно шахматной доске; вода торопливо сбегает с террасы на террасу широкой струей, перебегает из канавы в канаву, убегает под землю, исчезает под почвой и снова появляется на поверхности, чтобы напоить каждую лозу, дать жизнь земле. Благодаря сохранившейся здесь поныне этой ветхозаветной оросительной системе, виноград в этих местах отменный, лучший среди лучшего, и живет он две жизни, зимой и летом, и ему нет равного во всей стране.

И еще славится Казвин праведниками и могилами мусульманских святых и угодников, которым нет числа. И теперь, как и на протяжении всей многовековой жизни этого города, день начинается с утренней молитвы и кончается молитвой вечерней; и служители Бога возвещают об этом радостном часе со всех минаретов, и никто не может не услышать их. В молитве отдыхает душа, говорят правоверные; все невзгоды жизни с их противоречиями, и несчастья, которые время от времени непременно посещают каждый дом, не должны огорчать души во время молитвы, не должны проникать в нее...

В эти дни никто не думал здесь о войне, даже мало кто знал о ней — она была так далеко, на другом конце земли, где-то в Старом Свете, и сюда не доносились выстрелы, на улицах не рвались снаряды, а в небе летали ласточки. Город как бы дремал от зноя, но на базаре, в торговых рядах и в рядах ремесленников шевелилась жизнь, порой оживляясь от азартного торга, который всегда заканчивался полюбовно, и обманутые покупатели обнимались с обманувшими их торговцами, как лучшие друзья.

Нигде не видно женщин, они не принимают участия в деловой жизни мужчин и может показаться, что их вообще здесь нет; страна без женщин — как это, должно быть, тоскливо и скучно! Жан напряженно присматривался к этим людям, как археолог присматривается к старинным черепкам, он хотел понять — что делает этих бедняков счастливыми, откуда у них такое

покойное состояние духа, как будто нет у них ни забот, ни тревог, ни печали, ни воздыханий...

Всё было ново для него в этом старом мире, который казался ему лучше всего того, что он знал до сих пор. Он словно повзрослел теперь, возмужал, стал даже выше ростом, поднялся над землей, увидел небо!

Но вот стало известно, что Жан получил наконец «увольнение» (так называют на штабном языке «отпуск») для поездки в столичный город на один день, на одни только сутки, на 24 часа. Он этого так долго желал! Но что ждет его там? Все ему завидовали — какое выпало на его долю счастье! Он будет там, где вся жизнь состоит из одних лишь наслаждений! Его повсюду будут сопровождать благоухающие гаремные женщины, ничем не занятые, кроме любовных утех! Все увеселительные места этой шумной азиатской столицы раскроют перед ним свои объятия! Крикливые зазывалы с большими открытыми ртами будут гоняться за ним, предлагая за бесценок предметы роскоши и старины; там торгуют всеми заморскими товарами, тончайшими английскими тканями, ручными изделиями из серебра, картинами слепого художника Кемаль-э-Молька, бирюзой из Мааданских копий, алмазами, завезенными из Индии и с острова Борнео, жемчугами, добытыми со дна Персидского залива... Все эти приманки жизни не нужны были ему, но, вместе с тем, они манили его, развращали его ненасытное воображение.

Горячая дорога всё еще пылала зноем заходящего солнца. Кругом лежала безрадостная, неживая степь,

местами переходившая в мертвую пустыню. Нигде не было видно воды, ни пруда с лягушками, ни реки с ящерицами и змеями, ни грязной лужи с чертями и домовым. Часто встречались ему степные черепахи; большие и неподвижные, как камни, они выходили на свет автомобильных фар и доверчиво ложились под колеса. Он безжалостно давил их, оставляя на дороге мокрые следы. Иногда дорогу перебегали плачущие шакалы в поисках падали. Где-то далеко слышался залиvistый смех гиен, разрывавших свежие могилы. Он остановился в деревушке с истощенными лугами, на которых стадо скучающих овец пожирало последнюю траву. Он вошел в лачугу, как в могилу, сложенную из глины, с дырой в потолке. Бедность не пугала его, он не чувствовал себя чужим среди несчастных; его больше пугали счастливые!

Старая женщина, едва прикрытая легкой домашней чадрой, вскрикнула при виде вошедшего чужого мужчины и выбежала из лачуги, как из горящего дома. Мужчины встретили его по-восточному учтиво, стоя с покорно опущенными руками, отвечивали поклоны и предлагали ему всё, что у них есть. Они объяснялись с ним выразительными жестами пальцев и рук, и мимикой подвижных своих лиц, при помощи которых они могли сказать больше, чем словами, о своей душевной жизни. Они с завидным удовольствием пили чай, вкусно хрустел ломкий лаваш на их зубах, бережно заправляли они в рот крошки овечьего сыра, как будто в каждой крошке они находили новую радость.

Уже темнело и деревушка слепла, погружаясь во мрак ночи, как будто уходила под землю. Слышались тревожные вскрикивания напуганных птиц и притаившихся животных; с наступлением темноты им чудится конец всему и — что они погибают... Жан торопливо сел в свой тряский джип военного времени, едва коснулся педали, и машина понеслась, как вырвавшийся на свободу заключенный. Скорее! Скорей! Какая счастливая мысль! Он больше никому не принадлежит! Быть свободным, не значит ли это быть счастливым? Он словно прирос к рулю всем своим телом, и машина, как послушная кобылка, несла его, обгоняя всех, развивая сумасшедшую скорость, как при погоне, не задерживаясь на заставах, убегая от огней. Вот проехал он, не заметив, городок *Гечесар* с тысячью скучающих в нем жителей. Скоро приблизился он к схожему городишку *Кередж*, где больше людей, больше могил праведников, шумнее базар, и стал приближаться к столице, многолюдному Тегерану, соблазнявшему его недавно своим богатством и развратом. Но мимо, мимо всего этого! Минуя городские ворота, он вырвался на проезжую дорогу и точно в беспамятстве, подобно птице, увидевшей над собой небо после долголетней жизни за железными прутьями клетки, он погнал машину на запретный для него юг. Вот прославленный своей святостью, благочестивый город *Кум*; здесь погребена Фатима, возлюбленная сестра чудотворца-имама Али бен Муса ар-Реза, пострадавшего за правду; здесь покоятся многие цари из династии Сефевидов и последних Каджаров, в четырех мавзолеях, богатых,

как шахские дворцы; на улицах нередко происходят драки — паломники шииты побивают камнями еретиков бехаистов или исмаилиты набрасываются на суннитов, а сунниты — на огнепоклонников гебров в желтых халатах. Жан не задерживался здесь и понесся на своем джипе в сторону *Лемеджана*, который тоже славится могилами праведников и святых, а оттуда — к самому сердцу английской зоны оккупации, на этот горячий юг, к черному городу *Ахвазу*, где вся земля, черная от нефти, казалось, пылает огнем, а в небе плавают черные облака... Здесь следы его исчезают, никто больше не видел обезумевшего джипа с обезумевшим русским за рулем. Он не вернулся в свою часть на другой день, ни на другие сутки, ни через год — никогда...

.....

Одни говорили, что Жан бежал с контрабандистами в Ливан, женился там на красавице армянке, потом переехал с семьей в Сирию; здесь он разбогател на подрядах, строил мосты, прокладывал шоссейные дороги. У него теперь своя вилла в богатой части Дамаска, на берегу живописной реки Барада. Лето проводит он с семьей на Средиземном море, на своей яхте, а зимой охотится в горах Антиливана на онагров и даманов, которые укрываются от людей на высоте более трех тысяч метров, но он легко находит их там...

Другие видели Жана в Иране, в ночлежных домах, в караван-сараях, на проезжих дорогах, совсем опустившимся, давно не чесанным, в лохмотьях, выпрашивающим у персов подавание. Он пристрастился к опиуму,

всегда возбужден, рассказывает небылицы, потешает чернь и сам веселится, как выживший из ума. Он научился кричать петухом, смеяться, как гиена, плакать, как шакал. Обозлившись, он начинал лаять на людей по-собачьи, и так натурально, что суеверные персы гнали его от себя, били его палками, забрасывали камнями, ибо, по их вероучению, нет более нечистого животного, чем собака, и ее надо убить...

Но достоверней всего были рассказы богомольцев-паломников, возвращавшихся со Святой Земли, из вечного Иерусалима. Богомольцы видели Жана у Гроба Господня, у предела Обретения Креста в храме Воскресения, и в Гефсиманском саду, и на Голгофе, облаченного в монашескую рясу с клобуком на голове и в сношенных армейских сапогах. Густая цыганская борода скрывает его аскетическую бледность. Он спокоен и умиротворен, он нашел то, что искал, и теперь он знает, кому обязан своей жизнью. Он уже больше не Жан, не помнящий родства, а смиренный инок Иоанн, русский по своему рождению, крещенный вторично в водах Иордана. Как далеки были теперь от него все смертные грехи!

ДРУЖБА ВРАГОВ

«Бойтесь слабого врага более, чем сильного... Он старается тогда стать другом, когда не может быть врагом...»

Саади

Грузы всё прибывали и прибывали. Огромные океанские пароходы, напоминавшие высотные здания американских городов, стояли в бухтах Хор-Муса, в Бендер-Абассе, в Бушире, на всем южном побережье Персидского залива, и долго не разгружались. Все доки, портовые склады и временные бараки, сооруженные под амбары, были загромождены, завалены всевозможными товарами, приходившими из Нового Света, чтобы снабжать Советскую армию всем, что нужно для войны.

Но чтобы переправить эти срочные военные и хозяйственные грузы с юга страны на север, они должны были пройти длинный путь через безводную пустыню Гермезир, через необитаемые степи Даште-Кевир, через

мертвые солончаковые топи и соляные пустыни Джаз-Мориана, где озера превращаются на лето в знойную пустыню, пересечь всё Иранское плоскогорье от Персидского залива до Каспийского моря. И всё же это был самый короткий, самый безопасный путь в условиях военного времени.

Стали прокладывать новые дороги, которые должны были заменить караванные пути. Кипящий гудрон, напоминавший лаву, извергнутую действующим вулканом, еще дымился на дорогах, но движение по ним не приостанавливалось ни днем, ни ночью, как движение земли вокруг солнечной системы.

Вдоль этих новых дорог на всем их протяжении встречались теперь колодцы, и возле них селились пастухи со своими баранами, и волы впрягались в доисторические каменные сохи, и рабочие лошади тянули свою арбу. Новые дороги внесли оживление и в дальние селения, они привлекли к себе всех бедняков страны, и каждый надеялся, что, может быть, теперь и ему здесь что-нибудь перепадет; американские солдаты сорят деньгами, они богаче и добрее иранских генералов.

С израненными ногами, распухшими и кровоточащими от долгого пути через труднопроходимые горы и обнаженные пустыни, водоносы приносили сюда в своих лоснящихся бурдюках питьевую воду, чтобы на ней разбогатеть; вода в этих местах дороже нефти. Мелкие ремесленники раскладывали при дороге свои ручные изделия из глины и камня, привлекая ими жадных к старине чужеземных солдат. Женщины, никогда

не выходявшие за пределы своих непроницаемых дворов, сбегались к этим новым дорогам, точно к большой воде, и попрошайничали.

Появились торговцы со своими понурыми ослиами, которых нагружали всем, что у них есть. Едва передвигаясь на худых ногах, ослы несли в ковровых мешках каменную соль, глыбы овечьего сыра, медовые финики, втоптаные в бидоны из-под бензина, гранаты, сочившиеся словно свежей кровью, и порошние кувшины из необожженной глины, чтобы лучше стыла в них вода.

Торговцы останавливались возле новой дороги и с открытыми ртами провожали тяжелые грузовики, затянутые брезентом, следовавшие один за другим, как караваны верблюдов в пустыне, и им не видно было конца. В своей мелочной торговле они привыкли взвешивать товары на *мискали* — золотники или на *батманы* — фунты, но никогда еще не слышали они, что бывает вес тяжелее *харвара* — веса, который может поднять осел.

Каким же весом взвешивают эти горы съестных припасов, которыми кормят теперь американцы русских солдат? Какими числами подсчитывают они амуницию и военное снаряжение, без которого Советская армия не могла бы вести войны?

— Всё для войны, всё для войны... — бормотал почерневший от солнца дервиш, сидя при дороге с протянутой рукой. Слезящимися глазами он провожал пробегавшие мимо него грузовики, точно это были гробы, наполненные мертвецами.

Стареющий Тегеран, полный увядающей прелести, помолодел в эти дни войны; все говорили, что война сделала его красивым, принарядила улицы, вытеснила с них дремлющих лошадей со старомодными экипажами, внесла оживление в каждый скучающий дом. Все теперь здесь бойко торговали: женщины — своей любовью, менялы — иностранной валютой, антикварные лавки — изделиями старины, примитивами древней персидской живописи.

Заокеанские солдаты набрасывались на сувениры, как на нефтяные акции; за всякую грубую подделку они платили не меньше, чем за ласки продажной женщины, завернутой в стыдливую чадру. Всякий подлог был теперь в большом ходу, и торговцы древностями, не теряя времени, наживались на обмане.

Защитный цвет преобладал теперь здесь над всеми другими красками города. Никогда прежде на улицах этой азиатской столицы не встречалось такого разнообразия военных форм, такого количества иноземных солдат и генералов в причудливых головных уборах; одни были в кокетливых беретах, другие — в заломленных фетровых шляпах с аистовыми перьями; в пилотках набекрень, едва державшихся на бритых головах; в польских конфедератках с затейливой кисточкой, в белоснежных тюрбанах, напоминавших свадебные торты; в высоких и круглых картузах на манер кивера...

В эти беспокойные дни здесь можно было встретить представителей всех видов оружия, различного рода войск из разных стран Старого и Нового Света.

Редко встречались здесь только советские солдаты, одетые в мешковатую военную форму и в тяжелые армейские сапоги; не видно было и советских генералов, всегда наряженных, как на параде, и обвешенных орденами, как цыганки монистами. Прибрав весь север страны в свои руки, они с первых дней замыслили там что-то недоброе, а свободный от оккупации Тегеран был для них как бы запретной зоной; они старались не показываться там на людях, не пугать мирных жителей и не раздражать своих союзников, друзей, пока они были им нужны. Они скучали среди могил мусульманских святых и памятников древности в небольших городках, мимо которых проходили стратегические дороги, неся службу по их охране.

У них было насмешливое, пренебрежительное отношение ко всему прошлому, к старине, ко всему, чего они не знали. Какая отсталая жизнь! Нет ни клубов, ни кинотеатров, ни «парков культуры и отдыха», ни даже «красных уголков», где можно было бы культурно провести время. Все читают только Коран, как будто после него не было написано ни одной культурной книги...

Они выжидали конца войны, чтобы научить персов своей культурной жизни. И в памятные дни «встречи на Эльбе» в Тегеране стало особенно тревожно, точно для персов не кончалась, а только начиналась война; красные тучи надвигались на столицу с севера, тогда как на юге союзные войска оставляли страну. На улицах столицы стали появляться теперь осмелевшие советские солдаты и офицеры, парами, группами,

толпами. Они были очень развязны, точно вся земля принадлежала теперь им одним. Они говорили:

— Ну вот, мы покончили с нашими врагами, а теперь настало время приняться за наших друзей...

СКАЗАНИЕ О СТРАНЕ УСУНЕЙ

Они были бесстрашны. Они могли выставить сто восемьдесят восемь тысяч (и даже немного больше!) отчаянных воинов, приросших к седлам своих степных коней, бесстрашных, как и их всадники. Их боялись все народы и племена, населявшие Семиречье, и далеко за Сыр-Дарьей в Мавераннахре, и к северо-западу от Ферганы, и на берегах необъятного и бездонного озера Иссык-Куль. Они были страшнее урагана на море, песчаной бури в пустыне, огня и лавы действующего вулкана. Надо быть очень равнодушным к жизни, чтобы обладать храбростью, подобной их!

Такими были *у с у н и* или *у й с у н ы*, ставшие известными нам много столетий спустя под именем киргиз-казацкой орды. Своим обликом они были весьма отличны от других народов западного края. Ныне — это тюрки с голубыми глазами и рыжими бородами, порой их принимают за арийцев с индоевропейской кровью, но есть в них кровь и желтой расы, благодаря

одной китаянке, выданной против ее воли за усуньского вельможу, и летописец находит в них также сходство с обезьянами, говоря, что они «суть потомки их...».

У них был свой царь, носивший титул *гуньмо*. Ему принадлежала земля и небо всего его царства и шестьсот тридцать тысяч человеческих душ с табунами их лошадей, со всем крупным и мелким рогатым скотом и пастбищами. Его почитали наравне с воздухом, которым дышали, наравне с небесными светилами, с водами рек и озер. Он повелевал! Он властвовал! Ему не было равного!

Кочевья усуней занимали равнинную часть Семиречья с землей ровной и травянистой, где часто шли дожди и бывало студено зимой, а поодаль, в горах, было темно от хвойных лесов; там дети усуней учились убивать маралов, вепрей, антилоп; с малолетства они уже знали, как пользоваться рогатиной с длинным древком, чтобы зверь не ушел живым.

В солнечные дни и в непогоду *гуньмо* объезжал свои владения и кочевья пастухов, наказывал смертью виновных, даровал жизнь невинным, выслушивал жалобы, примирял враждующих, возвращал мужьям их жен, которые по праву степного закона оставляли обедневших своих мужей и вступали в брак с теми, кто был богаче, у кого были бóльшие табуны лошадей, больше вяленого конского мяса и кобыльего молока... Потом *гуньмо* делал смотр своим боевым коням, заглядывал в амбары, спускался в глубокие погреба, пересчитывал там мешки, наполненные, точно зерном, монетой собственной чеканки, и шел на склад оружия: здесь было

всё, что нужно для войны, и он не мог этому не порадоваться. С любовью варвара он брал в руки пращи для метания камней, долго любовался рогатинами и копьями, секирами и стрелами, мечами и кольчугами и, как дикарь, радовался пищалям, заряженным свинцом. Всего этого было у него неисчислимо много, могло хватить ему на много войн, на много, много лет. И сердце гуньмо, преисполненное гордостью завоевателя, рвалось в бой.

Между войнами гуньмо скучал; он изучал небо, призывал к себе ученых звездочетов, вел с ними долгие беседы о небесных телах, которым поклонялся. С доверием ребенка гуньмо слушал их рассказы о загадочной жизни «двойных» звезд, подобных двоящимся душам людей, от которых происходят все их заблуждения, и о звездах «переменных», толпящихся, как стадо овец, на Млечном Пути; изменчивые, как желания, они горят красным светом, иногда — белым, но никогда зеленым или голубым, как звезды других созвездий. Старый, слепнувший звездочет, сухой, как мертвое дерево, с заплетенными, как у девочки, косичками, узнавал по ним о всех событиях жизни, какие когда-либо происходили на земле и какие когда-либо произойдут до окончания века.

Перед походом гуньмо оставлял крепость, переселялся в свой царский шатер, в ставку, носившую название *Чигу*, на юго-восточном берегу необъятного и бездонного озера Иссык-Куль. С зачатым в чреве ребенком царица следовала за своим повелителем-мужем в степной шатер; она не оставляла его даже в походе,

даже на поле брани. Рожденный сам от кровосмешения, по обычаям степной жизни, гуньмо не был заинтересован в супружеской любви царицы, приходившейся ему сестрой и внучкой в одно и то же время; он не дорожил ее жизнью. Он любил золото. В его большом, как поле, шатре, покрытом войлоком, всё, чем пользовался гуньмо, было сделано из червонного золота, и оно ослепляло его, словно это были осколки упавшего на землю солнца. Суеверное чувство удерживало гуньмо от серебра; в каждом серебряном слитке он узнавал мертвую звезду, а это было для него равносильно тому, что увидеть мертвым одного из своих богов.

Достигнув высокой степени могущества, гуньмо не утратил предпринять поход против кровожадных гуннов, ненавидевших всех живых и не почитавших мертвых. Одичавшие от крови гунны чем-то нравились ему — может быть, своим презрением к жизни или своим озлоблением против людей... Жизнь без войн была бы для гуньмо безрадостной и невыносимой; он прозябал среди земных утех и услад, которые доставались ему легко, без труда, без битвы и без боя. Он любил погружать свои руки в мешки, наполненные нетленными деньгами, любил красное мясо, в котором еще не запеклась кровь, любил похотливых женщин с пышным телом и рыжими волосами, любил вино, пиры, грохот и шум безобразной музыки дикарей, которая услаждала его слух, восхищала его душу, воспламеняла сердце. Он любил рабов, чтобы они ползали в его ногах, выпрашивая у него жизнь, как собака кость... Но более всего гуньмо любил войны и битвы, любил уби-

вать из лука, рубить секирой, колоть копьем, разить мечом, метать камни из пращей и слышать стоны умирающих, от которых ликовала его порочная душа.

Злые дела гуньмо стали известны достойному даосскому монаху Чан-чуню, который прятался от людей в горах восточного Китая. Подобно мудрому Лао-цзе, он искал на земле то, чего здесь нет и что есть только на небе, помышляя о душевном покое и безмятежном счастье. Он жил в ущелье, пробитом грозой, питался одними зернами риса, пил воду из горного ручья и изготовлял талисманы, чтобы с их помощью сделать счастливыми несчастных. Свободное время он проводил в созерцании — он наблюдал жизнь, но не жил ею; он умертвил в себе все желания, у него больше не было желания даже желать... Так даосский монах Чан-чунь достиг наивысшей святости и полного покоя, каким обладают только мертвые, оставаясь живым. Все превозносили его, прославляли его, чтили его, и гуньмо пожелал встретиться с ним. Чан-чунь предпринял тогда свое первое дальнее путешествие в чужую страну, со свитой, посланной к нему гуньмо, и на его степных конях, не знающих усталости, боле выносливых, чем дромадеры, нетребовательных, как онагры. Много долгих дней и коротких ночей ехал он по голой степи без отдыха, и лошадь несла его с быстротой летящей стрелы, пока не достиг он места, населенного людьми. Они угощали его вареными лепешками с солью, которыми кормились всю свою жизнь, как лошади овсом, и не знали, что бывает что-нибудь лучше их и вкуснее. В другом месте даосскому монаху поднесли рыбу с

огромным открытым ртом, как живую, совсем голую, без чешуи, недавно выловленную в море С ы р; он не стал ее есть. Наконец он достиг безбрежной Сыр-Дарьи, которую называли рекой Узгенда, она же была рекой Ходженда и Бенакета, рекой Шахрухии и рекой Шаша, рекой всех мест, мимо которых протекала она. Не без труда он переправился через нее по плавучему мосту со всей своей неторопливой свитой и нетерпеливыми степными конями. Путь его лежал теперь на юго-запад от реки, по «голодной степи», в которой не было ни воды, ни травы, ни жизни, ни смерти, откуда улетали птицы, уползали земные твари, убежали звери... После многих приключений Чан-чунь прибыл в страну *Ахси*, именем которой потомки усуней, кара-киргизы, поныне называют прекрасную Фергану.

Гуньмо принял даосского монаха с почетом, как равного, вышел навстречу ему и, приблизившись на тридцать шагов, как это требовала степная учтивость, отвесил ему поклон. У Чан-чуна были спокойные, невозмутимые глаза и смешная монгольская бородка — всего лишь несколько длинных и тонких волос, похожих на тонкую паутину, и такие же усы, удлинявшие углы рта, отчего желтое его лицо лукаво улыбалось. Но это улыбались одни лишь его усы, в то время как лицо отшельника оставалось равнодушно-спокойным, смертельно-бледным, худым.

Гуньмо ввел отшельника в свой шатер; на верблюжьих кошмах, в два ряда, сидели царские вельможи, одетые, как и женщины, по степному обычаю, в длинные белые рубашки, похожие на саван, сшитые в виде

мешка, с широкими рукавами. Волосы у всех были заплетены в косы, как и у женщин, и покрыты высокими шапками, нарядно пестрыми, как оперение тропических птиц-самцов. На больших блюдах из красной меди рабы вносили зажаренных на вертеле оголенных молодых лошадок с отрубленными копытами; с распоротыми брюхами дымились кабаньи туши, убитые усуньскими детьми, и олени с отсеченными рогами. Приправой ко всему был рис, сваренный в изобилии в огромных котлах, залитый кипящим жиром с плавающими в нем бараньими внутренностями. В корзинах, плетенных из золотых прутьев, громоздились плоды со всех фруктовых садов его страны: были и маргитанские гранаты, полюбившиеся гуньмо, и таявшие от прикосновения к ним груши с берегов Ак-Буры, и медовые дыни из Тедженского оазиса. Большие позолоченные посудыны, в которых может поместиться годовалый ребенок, были наполнены отменным миндалем из местности Кенд-и-Бадем; с этим миндалем гуньмо любил проводить свой досуг. Бесперывно опустошались и снова наполнялись огромные деревянные чаны виноградным вином из собственных давлений гуньмо. Из дубленых кожаных мешков черпали ковшами теплое, еще пахнувшее выменем кобылиц, молоко.

И удивился Чан-чунь всему этому изобилию, и обратился он к гуньмо со словами осуждения:

— Зачем ты призвал меня к себе, великий покоритель земли? Веселье твое не веселит меня; яства твои, которыми пресыщаешь ты свое прожорливое чрево, противны мне, оскверняют меня; богатства твои вы-

зывают у меня сожаление к тебе и стыд за тебя, а земные улады твои, которым предаешься ты с избытком от лености своего ума, отвратительны и неприятны мне, как и все другие отправления человеческого тела... Всё, что радует тебя, вызывает у меня печаль и великое огорчение; всё, что погружает тебя в грусть, является источником моей радости. У тебя есть всё. У меня нет ничего. И всё, чем обладаешь ты, не нужно тебе, ибо ты не знаешь покоя; душа твоя беспокойством полна, тревога никогда не оставляет тебя, и ум твой помрачен; вот уже десять лет, как твои отряды, подобно одержимым, движутся на протяжении десяти тысяч л и со смертельным оружием, чтобы творить зло, опустошать землю, умертвлять живых. Зачем? Разве мертвые приносят радость живым? Оставь безумные дела свои, за которые не будет тебе бóльшего вознаграждения, чем смерть; она освободит тебя от всех желаний, исчезнут помрачения ума твоего, творящие зло, и вернется к тебе состояние покоя, полного покоя, абсолютного покоя, которого не знал ты на земле...

.....
.....

Теперь от бесстрашных усуней и ненасытного покорителя земли, гуньмо, не осталось ничего, лишь пустующие городища, развалины крепостей и памятники древности на берегах Иссык-Куля и на дне его; озеро не вмещает в себя все свои воды, размывает берега, поглощает их... Всё предано забвению, всё поросло

травой, затоплено водой, развеяно ветрами, растворилось в бесконечности времени. И только даосский монах, как говорят суеверные туземцы, продолжает жить незримой жизнью, потому что достигшие наивысшей святости не умирают смертью смертных.

СТАРЫЙ СВЕТ

Путевые записки

*

Мы говорили о пустяках, мы еще не оторвались от земли с нашими земными заботами, а самолет уже висел над бездной, уходя на север, к арктической зиме, к ледникам Исландии, в Старый Свет. Без сожаления оставляли мы удушливое лето американского побережья Атлантического океана — что может быть хуже перегревшегося, отравляющего с м о г а, изобретенного нашей цивилизацией! А всё же воздух земли был нам всего дороже, а небо, в котором вертятся сейчас под нашими ногами причудливые моторы, преодолевая высоту, пугает нас. Почему так беспокойно нам, жителям

загрязненной земли, в этом чистом, ничем не отравленном пространстве? Вот уже разносят горячий завтрак, все мы возвращаемся к повседневной жизни, как дома, как на земле, и мы забываем на время, что за бортом этого висящего над бездной самолета нет ничего и никого — ни друзей, ни недругов, и мы предоставлены самим себе и этим ревушим, словно стонущим моторам, у которых нет души. А внизу — уже необъятная Гренландия, безжизненная, мертвая, с ослепительными глетчерами и айсбергами, вся во льду, названная в насмешку «зеленой землей».

Под нами — бездна, и с ее непостижимого дна поднимаются из воды скалы, образуя фиорды, и льдины, похожие на острова, между которыми бушует вода — и ничего больше. Везде лед, лед и лед, и сильные порывистые ветры, и метели, никогда не прекращающиеся, с первых дней творения до наших дней... Но вот, и здесь тоже живут люди; под этим холодным арктическим небом прославленный эскимосами в песнях и сагах язычник Эйрик Рыжий со своей христоролюбивой женой нашли зеленую полянку среди кустарников березы и поселились на ней. Как давно это было! С того времени, по берегам острова, который по размерам можно принять за материк, селились норвежские викинги и исландские рыболовы в поисках лососей. Они находили среди льдов землю, и на ней стоят теперь города с населением в тысячу человек, а иногда и немного больше, а в городе Дундас есть даже американский аэродром, которого не было во времена Фритьофа Нансена, когда он пересекал гренландский ледник.

Ныне предприимчивые датчане понастроили там доходные гостиницы, которые сравнивают они, шутки ради, с отелями Хилтона и Ритца; при них рестораны-буфеты на всякий вкус, но, конечно, выловленная в океане сёмга, треска и исландская сельдь над всеми другими кушаньями преобладают. Есть в этих гостиницах и огонь, и свет, и горячая вода, и паровое отопление, чему дивятся жители вечных льдов, отогревающиеся в снегу. Из вестибюля гостиницы хорошо видны дальние глетчеры и ледяные горы — на них больно смотреть незащищенными глазами, и при виде их з а м е р з а е т сердце.

Тут же, за прилавком, торгуют всем, чего у нас нет и что увозят с собой туристы как антикварные вещи, для своих коллекций редкостей. Над этими прилавками для туристов трудились очень застенчивые и привлекательные гренландские девушки, нанизывая своими детскими руками бусы на китовые усы, разукрашивая клыки моржей причудливой резьбой, преображая в кокетливые дамские сумочки содранные с кошек шкуры. Эти гренландские искусницы шьют для туристов детские куклы, подобные самим себе, одетые, как и они, в шкуру и кожу, с которыми так хочется им играть... А как забавны, как привлекательны сделанные всё теми же детскими руками миниатюрные к а я к и, на которых, в своих детских снах, они переплывают океан.

Всего этого не увидеть с высоты летящего самолета, как и не увидеть жизни на блуждающих над нами звездах...

Вот и цивилизованная Исландия, открытая всем ветрам, одна среди безбрежной воды. Мы снижаемся на ее вулканическую землю, в столицу, прильнувшую к океану, в город Рейкьявик. Как мало знаем мы о нем! С незапамятных времен на этом острове, населенном птицами в небе и рыбой в глубокой воде, селились язычники-норвежцы, чем-то обиженные, недовольные своим государством, и, со временем, превратили этот необитаемый остров в процветающую нынче страну. Но как здесь всё серо, мокро и скучно, какое над ними неуютное грязное небо, а земля голая, как лицо скопца... Холодно, моросит холодный дождь, дует холодный ветер — и так всегда...

Несмотря на всё, исландцы живут цивилизованной жизнью, не отставая от нашего времени, а в некоторых случаях и опережая его; у них ни в чем нет недостатка, они живут безбедно, зажиточно, никто не просит милостыни, но на их лицах отразилось скучное серое небо Исландии и залитая вулканической лавой мертвая земля; угрюмые и молчаливые, они улыбаются только при виде пойманного двадцатифунтового лосося. Вулканическая земля не располагает к веселью — как могут они улыбаться, живя в окружении более тридцати действующих вулканов, а под ногами у них так часто колеблется земля! Но они примирились со всеми явлениями природы, как примиряются с циклонами и смерчами, с песчаными бурями и ураганами на море.

Рыбная ловля здесь в большом почете, она — источник жизни и радости; это золотой фонд страны, ее национальное богатство. Рыбаки здесь, что у нас земледельцы, а океан — это их пашни, поля. От улова рыбы, как у нас от урожая зерна, зависит их благополучие. Каждому рыболову отведен здесь участок воды, как у нас, в лучшие времена, отделяли крестьянам участок земли. Семгой, треской, сельдью набиты здесь все рыбохранилища и холодильники, как у нас, в лучшие времена, элеваторы зерном. Реки здесь непригодны для рыболовства, они бурные, порожистые, несудоходные, но много здесь озер, и в них никогда не переводится никша, форель, исландская сельдь. И хотя мало здесь пригодной земли — может быть, меньше одного процента всей необозримой территории острова, — но и этого оказалось довольно для того, чтобы прокормить подножным кормом многочисленные стада овец и самим кормиться их мясом, одеваться в их шерсть, развить мясную и шерстепрядильную промышленность. Вот почему все здесь в шерстяных чулках, в шерстяных свитерах, а женщины поныне не расстаются со своим шерстяным национальным костюмом, который красит их; они всегда в темных шерстяных юбках с черными или красными корсажами, в узких курточках и передниках, делающих их похожими на школьниц, и продолжают жить своей прошлой жизнью на хуторах, в прочных домах, выстроенных из камня на многие века. И везде — в городе, на хуторе, в рыбацких поселениях — нет ни одного исландца, кто бы не знал своих мифологических песен из сборника «С т а р ш а я

Эдда», или исландских саг о старых богах, кто бы не пел исландских песен о героях морей, сравнивая их с Илиадой и Одиссеей. А в сборнике королевских саг «Младшая Эдда» исландцы воспевают, наряду с родственными им Норвегией и Данией, и нашу Древнюю Русь...

Они любят песню, у них в каждом населенном месте хоровые музыкальные объединения, и всего более они любят мужской хор, в котором выражена вся сила, всё мужество и бесстрашие героев морей.

В Исландии знают цену каждому человеку: этих свободолюбивых островитян так мало, немногим больше двухсот тысяч, но многовековая история их жизни, труда, неравной борьбы с природой сделала каждого из них героем, о которых рассказывают их невозмутимые эпические саги.

Давно забыто то время, когда Исландия была частью Датского королевства или входила в унию с Норвегией; вот уже более тридцати лет, как она независима и свободна от всех обязательств перед унией; у нее свои вооруженные силы, свой военно-воздушный флот и она равноправный член Северо-Атлантического Оборонительного Союза. С этим не может примириться советский арктический сосед у Полярного круга. Вот и сейчас в Рейкьявике очень обеспокоены приездом советской делегации для переговоров о «культурном обмене»; не собираются ли они в обмен на советские «песни и пляски» ловить семгу в исландских водах?

В этот день мы дважды встречаем восход солнца и дважды провожаем его заход — вот, что делает скорость, обгоняющая время! К концу дня мы уже на материке, в европейском захолустье, в Великом герцогстве Люксембург, где так бесшумно царствует герцогиня Шарлотта. На всем лежит здесь печать прошлого, того доброго старого времени, которое мы давно похоронили.

Мы присматриваемся к жизни этих спокойных, невозмутимых, уравновешенных людей, живущих без демонстраций и революций, которых называют у нас за это обывателями или мещанами, как ругательными словами; они не живут для будущего, как принуждают у нас жить советских жителей, лишая их земных радостей в настоящем и надежд на жизнь будущую, загробную. Они любят свой дом и устраивают в нем жизнь как можно удобней, приятней и красивей, и очень заняты чистотой своего тела и души. Они любят вкусно покушать и сладко поспать, и в заботе о своей семье забывают о всем населении земного шара. Они очень самолюбивы и горды — они не любят, чтобы им напоминали о их родстве с тевтонами; этого они вам никогда не простят. Как это может быть! Разве они не такие же, как и другие народы, получившие свою землю, свой язык и свою жизнь от Бога!

О, им неприятно вспоминать свое прошлое! Кому только не принадлежали они на протяжении своей многовековой истории? В их ранней жизни, более двух-

сот лет ими владели Габсбурги, потом — французы, после которых их прибрали к рукам испанцы, затем — австрийцы, и до недавнего прошлого их страной управлял, в порядке личной унии, король Нидерландов. Прошло немало времени, когда, наконец, на Лондонской конференции держав, Великое герцогство Люксембург было объявлено «вечно нейтральным» государством. Надо быть очень сильным духом и обладать крепким национальным здоровьем, чтобы всё это пережить и сохранить независимой свою крохотную страну с горсточкой населения, ставшую теперь крупным промышленным центром Европы.

Здесь так мало крестьян! Железо и руда вытеснили из жизни этой страны пастушеские свирели, не слышно мычания коров, ржания лошадей, блеяния овец, а посевы — крошечные, но вполне достаточные для того, чтобы прокормить свое население хлебом и картофелем, лошадей — овсом, свиней — кормовой свеклой; свинья здесь в большом почете: без окорока, бекона и свиного мяса жизнь показалась бы местным жителям менее привлекательной и радостной. В винах собственного производства из отечественного винограда тоже нет здесь недостатка, хотя все пьют пиво — кружками, ковшами, ведрами, бочками...

Врожденная вера в Бога удерживает этих благочестивых католиков от безрассудства — они ни с кем не вступают в войны, но и не поступаются своими наследственными правами. Они не одиноки, за них есть кому заступиться — Люксембургская Мадонна никогда не оставляет их. Каждый год, на протяжении веков,

в первое воскресенье перед Вознесением Господним, в Соборе Люксембургской Богоматери служат они благодарственный молебен своей небесной покровительнице, и тогда во всех храмах поют Ей славу колокола.

Мы не долго задерживаемся в этой благочестивой европейской провинции, мы здесь только проездом, на пути в Париж. А что там? Не ждем ли мы от прекрасной столицы Франции большего, чем она может дать? желания наши ненасытны, а жизнь скупа — она всегда обманывает...

*

Поездка поездом после полета на скоростном самолете напоминает о поездках на перекладных, запряженных в пару лошадей с пристяжной... Вот так же, только с меньшими удобствами и без комфорта, ездил я по своей стране в бесплацкартных вагонах на почтовых поездах с неразлучным чайником в руках. И тогда, небо там было таким же, как и здесь сегодня, легкие облака так же медленно и спокойно проплывали над мной, временами прикрывая солнце, пока порыв сильного ветра не уносил их. Но почему земля и люди на ней были другие? При виде жителей французских деревень, одетых кокетливо, по-городскому, и французских крестьянских «и з б», напоминающих усадьбы, с кисейными занавесками на окнах и цветниками на подоконниках, я с горечью вспоминал нашу разрушенную колхозами деревню, где поныне живут грязно и бедно,

всегда впроголодь, и всегда ждут хлеба из-за океана... Что сделали там с нашей землей, почему она перестала рожать? Почему коммунизм всегда и везде приносит людям голод, страдания, слезы, кровь и смерть? Какая это страшная разрушительная сила! Вот «Парижская Коммуна» просуществовала всего лишь 72 дня, и за одну только «майскую кровавую неделю» в Париже полегло от коммунизма более ста тысяч человеческих жизней! А мы терпим этот коммунистический разбой уже более шестидесяти лет...

В купе входит французский офицер в перчатках и со старомодной шпагой, которую несет он в руках, как дарохранительницу. Он не знает, что с ней делать, куда положить. Зачем она ему?

У него очень озабоченное лицо, как будто он собирается на самом деле скрестить с кем-то шпаги. Он чем-то недоволен, на кого-то обижен, кем-то обманут и на всех сердит. Может быть, на нас? Французы не любят американских туристов. Так и есть! Позже он признается нам в этом, когда узнаёт, что мы, хотя и американцы, но по рождению русские; он становится по-французски любезен, разговорчив, болтлив. Американские туристы, говорит он, раздражают его; они очень развязны, плохо воспитаны и не имеют вкуса... Они не знают, для чего приезжают в чужую страну, не знают, на что смотреть, и не понимают того, на что смотрят...

— Бывают и такие... — соглашаюсь я.

— Вот, — говорит он, вспыхнув, как сухое дерево в костре, — вы даже с этим соглашаетесь наполовину...

У него очень боевое настроение. Он говорит, что хорошо знает Америку, прожил там более двух месяцев — этого вполне довольно, чтобы узнать дикие американские нравы, их безнравственные законы и распущенность людей, которую они называют свободой...

Он горячится, он боится услышать возражения.

— Свобода, — говорит он, — несправедливо распределена у вас между людьми... Почему дети получают у вас больше свободы, чем их родители? А впоследствии с ними не могут справиться ни родители, ни школа, ни полиция, ни суды... Эти опасные зверьки пользуются в вашей стране такой неприкосновенностью, какой не пользуются у вас даже дипломатические представители иностранных государств... В школах их обучают теперь не грамоте, а сексуальной жизни, и они производят опыты на своих учительницах, насилая их, а школьницы, тем временем, рожают детей, несмотря на противозачаточные средства, которыми снабжают их в школе, бесплатно...

Я прерываю его — не коммунист ли он? Во Франции их теперь больше, чем в Советском Союзе.

Он смеется. Поезд в это время подходит к станции. Вот и Париж!

Этому городу нет равного, а вместе с тем, ничем он больше не может поразить — слишком много знаешь о нем, чтобы найти здесь что-нибудь новое. Париж всегда был ареной всевозможных революций, восстаний, беспорядков и баррикадных боёв, но несмотря на всё, он не стал другим, и продолжает быть всё той же легкомысленной кокоткой, которую нельзя не лю-

бить. Трудно поверить, что здесь происходило когда-то безобразное «Парижское восстание», а вскоре после него — восстание *майотенов*, и спустя несколько десятков лет — восстание *каботьенов*, а во время «Столетней войны» захваченный бургундцами Париж был сдан англичанам; это здесь, задолго до недавней трагедии, во время франко-прусской войны побывали германские войска. Но несмотря на всё, на печальные годы недавней оккупации, на пережитое унижение, на понесенные Францией потери и лишения в послевоенные годы, Париж не потерял своей прелести, своего колдовского обаяния, оставаясь таким же прекрасным, жизнерадостным, веселым, каким он был всегда. Он очень красив, этот нестареющий, вечно женственный город, и даже названия парижских улиц приятны, как женские имена.

Вот средневековый Париж со всеми памятниками готики, с собором Нотр-Дам и церковью Сент-Шапель, наряду с жилыми домами в два-три этажа и мансардами; это и есть центр современного города. Мы идем вдоль правого берега Сены, ничем не примечательной реки, мимо Лувра, где всегда стоят большой толпой непризнанные художники, скульпторы, писатели, поэты, которыми перенаселен Париж, приближаемся к *арке* на площади Карусель, к садам Тюильри, выходим, наконец, на Елисейские поля, и мы хотим, чтобы этой улице не было конца. Но вот и *гюе ду Фаубург Ст. Нопоге*, и где-то здесь помещается «Русская Мысль», привлекающая к себе всех русских за рубежом. Это — наш культурный центр; здесь мы встречаем и старых

русских эмигрантов с прославленными именами, и недавних советских жителей, которые еще не обжились на Западе; они мечутся по разным странам и еще не знают, где им лучше. Вот, прямо с аэродрома в редакцию прилетела из Англии супружеская чета — они недавно вырвались из Советского Союза, им так много нужно рассказать; они привезли рукопись, в которой вся их жизнь... У каждого недавнего советского жителя какая-то необычная, полная ужасов и кошмаров, биография, и они думают, что ни у кого другого подобной биографии не может быть. Как же не рассказать о ней, не предать ее гласности, даже если нет для этого ни способностей писателя, ни художественных средств — разве слова не говорят сами за себя? Но газета не может вместить всего, что вмещает душа, пострадавшая от коммунизма.

Минуя роскошные улицы, широкие, как поля, и бульвары, обсаженные вековыми деревьями, мы идем по берегу Сены на рю Дарю, словно возвращаемся на родину, домой; вот уже более полувека, как эта парижская улица стала для всех нас как бы Государством Российским. Это наш Версаль. Здесь всё лучшее, что осталось от былой России — это память о ней.

Был воскресный день. В храме св. Александра Невского шла обедня. И надо было случиться, чтобы в этот день, в этот час служили панихиду по зверски замученной царской семье. Какая это страшная панихида!

Гаснут свечи, исчезают видения, просыхают слезы, а хор всё еще поет «вечную память» и «со святыми упокой»...

Все расходятся, уносят с собой свою печаль и продолжают жить повседневной жизнью. Одни плетутся в клуб, чтобы развеять там тоску о невозвратном прошлом; другие, смирившись, покорно идут в свой старческий дом или сворачивают, на пути, в русский ресторан к пирожкам и пирогам с капустой, к своему заветному шкалику водки, которая, вскоре, сама начинает говорить. Здесь можно еще встретить сподвижников Деникина, Врангеля, Колчака и живых участников Первой мировой войны, и они рассказывают о ней, как о событиях недавнего времени, и показывают свои незаживающие раны.

Насытившись воспоминаниями прошлого, они хотят теперь послушать и нас — ведь мы третьего дня были еще в Вашингтоне, мы видели, вероятно, там Солженицына, мы слышали его голос, он ступал по нашей земле... Счастливые! Этот апостол мира откроет, наконец, глаза всем... Он послан нам небесами и потому не боится никого... Вы читали его «Теленка»? А его «Письмо вождям»? А его бесстрашные речи в Вашингтоне и в Нью-Йорке — это смелое осуждение всего свободного мира! Его речи подобны трубному гласу архангела! Почему не приняли его в Белом Доме? Неужели и там боятся его разоблачений? Что думает о нем Киссинджер? Но кто может знать, что́ у Киссинджера на уме!

В Париже, в то время, только и говорили, что о Солженицыне; этот бесстрашный русский воин ведет неравную борьбу с врагами рода человеческого...

Однако нельзя нам задерживаться в этой прекрасной столице и одного лишнего дня, надо бежать из Парижа, как можно скорее, пока французы не пустили нас по миру.

*

Мы едем дальше, поездом, от которого отвыкли в Новом Свете. Одна только ночь отделяет Париж от Мюнхена, а можно подумать, что их разделяют столетия; словно со свадебного торжества мы попадаем на поминки по усопшему.

Прекрасная столица Баварии перенаселена теперь инородцами, пришлыми людьми. Много среди них турок, греков и всякого люда с балканских стран в поисках заработка в побежденной Германии. Эти неряшливые люди превратили поражавший своей чистотой Мюнхенский вокзал в ночлежку и обжорку. На роскошных озеленённых улицах, на которых отразилось архитектурное искусство итальянского и французского ренессанса, нет былого движения; ночью нередко грабят прохожих, чего здесь прежде не бывало. В метро, этом безвкусном произведении нашего времени, уныло, как в бомбоубежище. Куда попрятались многие готические здания, которым немецкие зодчие отдали свою жизнь? Где они? Их давно уже нет в живых. На их месте стоят теперь голые железобетонные здания, лишённые какого-либо творческого воображения. Что случилось с Мюнхенской школой колористов, с Академией Худо-

жеств, которую посещал Пилоти, написавший исторические картины для вечности? Здесь жил и Вильгельм фон Кульбах, оставивший нам навсегда свои иллюстрации «Рейнеке-Лис»...

Без Мюнхена европейская цивилизация многое потеряла бы, она была бы не такой, какая она есть, а много бедней. Но как могло случиться, что благоразумные немцы доверили всё свое прошлое и свое будущее душевнобольному человеку? Никто не вспоминает теперь здесь о «Коричневом Доме», в котором фюрер сходил с ума. В своем безумии он не признавал, что роет могилу своей стране и всем странам Восточной Европы, расчищая путь коммунистическому ГУЛагу на Запад, и дальше, за океан... Почему советские вожди не воздвигают фюреру памятников наравне с Лениным? Ведь никто другой так много не сделал для укрепления коммунистической империи, как этот враг России!

Не без грусти, но и без сожаления оставляем мы прекрасный Мюнхен, в котором любители изящного, как и прежде, найдут непревзойденные ручные работы из бронзы, из цветного стекла, похожие на рукоделье; туристы увезут из Мюнхена неувядающие искусственные цветы, которые принимаешь за только что сорванные, живые. Но в жизни этого великолепного города что-то изменилось, чего-то ему недостает — может быть, радости живых цветов?

Города, как и люди — они не бывают похожи один на другой, у каждого своя судьба. Вот и Вена, она немало пострадала от войны, она пережила две оккупации — немецкую и советскую — одну хуже другой, она так долго была унижена, но на ее привлекательном лице не видно шрамов, и нет печали в ее душе. Вена аристократична, ни одной вульгарной черты в ней нет, разве что только «Памятник Победы», завезенный сюда советскими войсками и поставленный на видном месте. Он врывается в жизнь этого элегантного города, как пьяный солдат на праздник цветов. Жители Вены, благодаря своему прирожденному такту, умеют не замечать это безобразное сооружение — мешковато одетого советского солдата с окаменевшим лицом. Этот памятник-уродец навязан им «мирным договором», и они с благородной сдержанностью терпят его. Что ж поделаться — приходится отдать дань времени! Собор Св. Стефана с его стрельчатыми арками и поднятым над городом готическим шпилем от этого не пострадает...

Неподалеку от Венской оперы, в одном из парков, которые образуют кольцо внутреннего города Вены, с наступлением темноты городской оркестр играет вальсы Штрауса, и все танцуют. Уже при входе в парк нас встречает скульптурное изображение композитора, прильнувшего к своей скрипке всей душой, как мать к своему ребенку. При встрече с ним каждый улыбается ему с тихой, сдержанной радостью. Как можно жить

без него! Вечер, проведенный без вальсов Штрауса, считается здесь потерянным. Он вошел в их жизнь, как утренний кофе, как шницель по-венски. Они ждут этого вечернего часа весь длинный день, чтобы скорее забыть его, кружась в вальсе. А потом можно заглянуть и в ближайший кабачок, как всегда, в подвале какого-нибудь средневекового здания. Здесь они развлекаются, как хотят, в обнимку, держась за ручки любимой, припадая губами к опьяневшим губам, и снова и снова кружатся в танце под музыку раздирающих струны и души гитар, и баянов, всё тех же вальсов Штрауса. Столы пустуют; кто может усидеть на месте, когда всё пришло в движение, и «сказки венского леса» сменяются «прекрасным голубым Дунаем»...

На улицах Вены всегда людно, даже на разрытых бульдозерами и взорванных динамитом мостовых, под которыми прокладывают метро. Со всех домов, словно из глубины веков, смотрят на нас скульптурные изображения, как будто это не жилые дома, а храмы или королевские дворцы. На улицах нет демонстраций с вульгарными плакатами, ни слезоточивых газов, ни «молотовских коктейлей», порожденных советской цивилизацией, но и душевного спокойствия здесь тоже нет; чувство тревоги и неуверенности вносят нынче коммунисты в жизнь всех городов Западной Европы. Доброжелатели советуют нам не говорить здесь ни с кем по-русски, даже с русскими — кто знает, кого засылает советская разведка с третьей эмиграцией, для которой Вена служит пересадочным пунктом из мира насилия и произвола в свободный мир. Конечно, гово-

рят наши доброжелатели, здесь можно вполне положиться на полицию, она хорошо знает свое дело, но всё же...

*

А в Венеции, куда мы отправились из Вены, везде преследуют нас хищные, монгольские глаза Ленина, усмехающегося себе в усы. Какая это дьявольская усмешка! Она на всех стенах отсыревших старинных домов, на каменных оградах набережных, в трактирах и лавчонках, где суетливые итальянские торговцы спешат нас обмануть. Итальянцы сошли с ума — какому страшному идолу поклоняются теперь эти благочестивые католики! Как могут они не знать, в какой ад совращает их сатана! Разве не помнят они своего Данте? Неужели забыли они сонеты Петрарки о любви?

Конечно, Венеция не Вена, она по-своему хороша. Но кто из приезжающих сюда ради праздного любопытства, захочет остаться здесь жить навсегда? Я встретил в пути только одного такого безрассудного человека, негритянского писателя, корреспондента газеты «Нью-Йорк Таймс». Вода, говорил он, располагает к раздумью, к уединению, и нет более благоприятного места для творческого труда, чем у воды, уносящей мысли в беспредельную даль... Здесь жили творцы прекрасного, лучшие мастера живописи и ваяния, и не умерли от тоски... Он уже объездил весь земной шар, но города, подобного Венеции, нигде нет...

С ним нельзя не согласиться. Но для нас, жителей земли, жизнь на воде кажется непостижимой. Как можно, выйдя из дому, искать под ногами лодку, чтобы перейти улицу, и, причалив к двери, загонять гондолу в заливчик-бассейн перед тем, как взобраться по карнизу в свой дом. Чтобы поехать за покупками, надо совершить дальнейшее плавание по узким каналам-переулкам, в которых не разъехаться двум гондолам, и, вынырнув из них, плыть по каналам-улицам к заливам-площадям, выходящим в открытое море. Какое это славное путешествие для туристов, но что если плавать так изо дня в день, по всякому пустяку, отвыкнув ходить по твердой земле, редко передвигаясь ногами?.. Нет, нужно родиться моряком, любить воду сильнее земли, чтобы навсегда поселиться в этом городе-корабле, покоряющем неотразимыми чарами.

Минуя арки-мосты (а их здесь более четырехсот), под которые так легко ныряет наш старенький паром, мы плывем по *Каналь Гранде* к площади Сан-Марко. Здесь же и Собор Сан-Марко, и в нем покоятся мощи святого, увезенные венецианскими купцами из Александрии более одиннадцати столетий тому назад. Тогда это была деревянная часовня, куда приплывали паломники, чтобы приложиться к живым мощам евангелиста, который отдал свою жизнь Христу, проповедуя слово Божье на Кипре с апостолом Павлом, а позже, в Риме, с апостолом Петром. С того времени правители Венецианской республики, до ж и, поклонялись Святому Марку, как своему небесному покровителю. Каждый купец, возвращавшийся из дальнего плавания,

привозил в деревянную часовню своему святому богатые подарки, драгоценности, а зодчие, ваятели, живописцы отдавали храму всё свое дарование, чтобы превратить Собор в памятник вечности. Таким он и остался навсегда.

Мы всё еще во власти сновидений; мы видели площадь Сан-Марко и Собор Сан-Марко на ней, к которому жители Венеции привыкли, как к своему жилому дому, не замечают уже его, не знают, что он украшает вселенную. Собор пустует, его обновляют, исправляют повреждения, которые наносит время, смывают пятна, очищают барельефы, мозаику, мрамор, порфир от голубинового помета... Как много здесь голубей! Они слетелись сюда со всех концов земли — словно справлять праздник бессмертия Святого. Площадь покрыта ими, как небо резвящимися облаками. Но почему так грустны, так встревожены и напуганы лица пассажиров парома, уплывающих к новым радостным встречам с прошлым?

Только сейчас стало известно, что в Венеции власть перешла к коммунистам. (О, эта дьявольская улыбка Ленина! Не напрасно усмехается он себе в усы...) Какое бедствие! Все христианское наследство этого города-красавца станет теперь добычей воинствующих безбожников. Но это только цветочки...

Тем не менее, Венецию, однажды увиденную, нельзя забыть.

Вот и Альпы, и поезд здесь уподобляется альпинистам, взбирается на такую недосыгаемую высоту, что только и ждешь: вот-вот, и свалится он в бездонную пропасть. Но эта пропасть так хороша, она так привлекает к себе своими альпийскими лугами, лесными чащами, полями, которые всегда в цвету... Везде здесь живут люди, а на склонах гор — пастбища, и на них много миллионов коров и всякой другой домашней скотины, превосходящей население страны; коровы здесь, наравне с людьми, живут очень зажиточной жизнью. Из густых лесов, похожих на заросли кустарника, выглядывают жилые дома, и горные дороги к ним кажутся тропинками; по ним ползают не спеша люди, как по ровному месту, словно каждый житель этих мест рожден альпинистом.

Швейцария получила от Бога лучшую часть земли в лучшей части земного шара. И воздух здесь тоже лучше нашего, и небо чище... Но люди, живущие здесь со дня своего рождения, не знают об этом. Красивое, как и безобразное, не замечают, когда привыкают к нему...

С чувством, похожим на религиозное, приближаешься к бывшему Леману, у которого ищут отдохновения усталые и пресыщенные жизнью люди. Это беспредельное и необъятное озеро, питающееся альпийскими снегами, избрало для себя лучшую часть Европы, расположилось в самом ее сердце и стало аристократическим центром этой части света со времен неукроти-

мого Кальвина до наших дней. Без этого озера не было бы красавицы Женевы, ни прекрасной Лозанны, ни нарядных вилл, прославившихся именами своих жильцов, ни роскошных курортов, избавляющих от недугов стареющих людей.

Старенькая Женева, по справедливости, обязана своей жизнью альпийской реке Рона больше, чем образовавшемуся благодаря ей озеру Леман, ныне известному нам под именем Женевского озера. Но то была еще «доисторическая» Женева, населенная кельтским племенем «аллоброгов», ставшая позже Женевой Кальвина, провозгласившего ее «святым городом Иерусалимом»; он одел всех в траур, запретил радоваться земными радостями, исчезли улыбки и весёлый смех...

Всего этого здесь больше нет; от религиозной нетерпимости Кальвина и его пылающих костров не осталось и следа, лишь чопорный пуризм и скука жизни еще напоминают о нем. Много здесь теперь инородцев с Дальнего Востока, у которых коммунисты отняли родину, много и с Ближнего Востока, разбогатевших на спекуляциях нефтью, много африканских негров, сроднившихся с европейской жизнью и французским языком, для которых нет другой культуры и никогда ее не было. В нищенских джинсах, с приросшими к их спинам вещевыми мешками и с картами и путеводителями в руках, бродят здесь, как слепцы, заокеанские туристы в поисках новизны в этом старом мире. Своим видом они напоминают сброшенных на парашютах пехотинцев. Они оставили дома все удобства своей американской жизни, отнявшие, по их разумению, радость

личной свободы, а здесь каждая скамейка в парке, ставшая для них родным домом, сделала их счастливыми. К этим заокеанским «мученикам» привыкли здесь, их причуды забавляют людей старшего поколения, а молодежь завидует им, старается во всем им подражать; песенки Элвиса Пресли у всех у них на устах; этот прославленный американский певец все еще развращает их после своей смерти.

Как неотразимо красивы отлогие берега Цюрихского озера, застроенные нарядными виллами, вдоль которых пробегает сейчас наш поезд; вот приближается он уже к одному из самых цветущих городов Швейцарии, когда-то вольному имперскому городу, Цюриху, богатому чужими богатствами, который называют теперь всемирным банком; в его денежный мешок поступают все богатства, накопленные веками странами всего земного шара, но скромности этого города можно позавидовать.

Тихий и благопристойный Цюрих приглянулся мне более других городов. Он словно одет в мундир, застегнутый на все пуговицы, всегда чисто вымыт и чисто выбрит, и причесан по-старинке. Никто не видел его неприбранным, неряшливо одетым, в домашнем халате и в комнатных туфлях. Этого не позволяет ни статут города, ни уклад его жизни, ни чувство собственного достоинства, ни уважение к живущим в нем. На улицах не видно полицейских. Что им здесь делать? Преступлений в городе нет, а несчастные случаи бывают очень редко. Не обучать же полицейским цивилизо-

ванных людей уличному движению или правилам приличия!

Чопорные женщины Цюриха, одетые по-старинке, в закрытые платья, такие чистенькие и опрятные, с приятными манерами и обращением, они во всех возрастах остаются женщинами, какими от природы надлежит им быть. Трудно представить себе женщину Цюриха в брюках или в грязных и рваных джинсах, в которые одета теперь вся Америка и ее прекрасный пол.

Мы уже научились взбираться по горбатым улицам окраин или подниматься по узким лестницам, как матросы на мачту, чтобы выйти на большую, роскошную улицу, ровную, как палуба корабля. Чаще всего мы пользуемся старомодным трамваем, очень элегантным и худеньким на вид, но в котором всегда есть для всех место. Но где бы мы ни были, трамвай всегда возвращает нас на набережную Цюрихского озера, спокойного, как небо, в котором так много плавающих лебедей! Эти гордые попрошайки спешат к нам, они высокомерно принимают из наших рук подачку, не как милостыню, а как вознаграждение за свою покоряющую красоту; мы всегда в долгу перед ней, ибо красота, говорит пословица, то же, что и премудрость, рожденная от истины и добра...

При расставании с Цюрихом, с его отжившим укладом жизни, с его доверием к человеку и уважением к нему, мне пришла тогда в голову праздная мысль, — как было бы хорошо, если бы города будущего были

похожи на этот город прошлого! Старенький Цюрих, которому скоро исполнится тысяча лет, не постарел, он только не хочет расстаться со своей прошлой жизнью, и это — лучшее, что у него осталось...

СОДЕРЖАНИЕ ·

Вместо предисловия	5
------------------------------	---

I

Моя двоюродная сестра	9
Живые видения	19
Странствующая душа	28
Весна в колхозе	37
Чистые сердцем	50
В гостях у Тамерлана	59
Не помнящий родства	70
Дружба врагов	81
Сказание о стране усуней	87

II

Старый Свет	99
-----------------------	----